


今入百廿  
 一  
 友徳  


Х  
О  
Т  
К  
К  
З  
М  
Е  
Е

• ЛРИБОЙ.



БОР. ПИЛЬНЯК

# КОРНИ ЯПОНСКОГО СОЛНЦА



Р. КИМ

# НОГИ К ЗМЕЕ

ПРИБОЙ

ЛЕНИНГРАД

ТИПОГРАФИЯ  
РАБОЧЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА  
**"ПРИБОЙ"**  
ИМЕНИ  
**ЕВГ. СОКОЛОВОЙ**  
пр. КРАСИ КОМАНДРОВ 29  
ЛЕНИНГРАД

1927



来

八十  
松助





**БОР. ПИЛЬНЯК**

**КОРНИ ЯПОНСКОГО  
СОЛНЦА**





# **ВСТУПЛЕНИЕ**



## ДНЕВНИКИ С СИНСЮ

... Я проснулся на рассвете, — и я не сразу понял, где я. Было кругом темно, и рядом пел петух, петуху отвечали другие петухи, и так же рядом пел соловей. Эти звуки были похожи на звуки нашей деревни. Я осмотрелся. Сьодзи (бумажные стены японского дома) были плотно сдвинуты, и верхушка их горела красными полосами восходящего солнца. Хибати (японский камелек) потухнул, было холодно холодом апрельского рассвета. Рядом со мною на полу, на татами (циновки, расстилаемые по полу), в кимоно спали Сигэмори-сан и Канэда-сан. И я понял, — я в Японии, путешествую по Синсю, ночью в доме крестьянина-писателя Тития-сан. Я лежал, также как Сигэмори и Канэда, в ватном ночном кимоно. На полу в полумраке были разбросаны книги, которые мы рассматривали с вечера. — И я очень больно стал думать о том, что вот те петухи и соловьи, которые разбудили меня, поют совершенно так же, как петухи и соловьи в тысячах верст отсюда, на моей родине, в России, — и почему так случилось, что люди говорят и живут по-разному. — Роса рассвета не задерживалась бумажными стенами, я двинулся, и на меня посыпались капли росы.

Эти дни — очень странные дни. Японцы, даже мои друзья, не говорят — нет, этого не допускают



их традиции, — и, когда надо сказать нет, они не понимают и не слышат меня. Мы идем из дома в дом, горами, в Японских Альпах, в версте над уровнем моря, наш маршрут составлен японскими писателями, у нас для каждого дома есть письмо. Наш маршрут неизвестен полиции, полиция следит за нами в расстоянии версты. Поэтому нас встречают везде очень сердечно. Но через полчаса после нашего прихода в ворота вползает ину, собака, хозяин куда-то уходит. — И сейчас же между нами и хозяином вырастает стена. Мне не говорят нет, но понятно, что оставаться здесь уже нельзя. И мы идем дальше. Тития-сан оставил нас ночевать.

Вчера мы были в городе Комуро, туда мы ехали целый день горной железной дорогой. Мы остановились в гостинице Ямасирокан — Горный Замок, гостиница стоит на развалинах замка, в вечерней ясности дымился вдалеке вулкан. Ходили к человеку, к которому было рекомендательное письмо от писателя Симадзаки, к местному корреспонденту токайских газет: не застали дома, — в пожарном депо в городке он развешивал картины, устраивал выставку. На завтра в городке празднества в честь их прежнего феодала, фамилия феодала виконт Макино; выставка приурочивалась к празднествам. Пошли, поехали на выставку на рикшах (при чем говорить рикша — неправильно: надо говорить курума). Там нас поили японским без сахара и совершенно зеленым чаем. Заходили на почту: все почты на Земном Шаре, должно-быть, пахнут одинаково — сургучом и чиновничеством, и за стеной должен стучать Морзэ. Шли по тихим улочкам, по удивительной этой японской тишине падающих с гор ручьев, вышли на дорогу к вулкану, куда ходят молиться. Любовались на ряженных трубачей, возвещавших о программе в кино. Вернулись в гостиницу, в развалины замка. Феодал



виконт Макино — приехал с вечера, остановился в той же гостинице, где и мы, — на развалинах того самого замка, со стен которого — так недавно — семьдесят лет тому назад правили округом его отцы: в душе его я не копался. Прислужница, которая оказалась женщиной с высшим образованием, филологичкой, бегала от нас к нему и рассказывала: — — «пошел в бочку — приказал подать ужин, сакэ — — его жена • потребовала себе пирамидона, очень разболелась голова».

Феода́л будет завтра на общественном молении и на выставке, — затем он уедет в Токио, чтобы вернуться сюда через год.

По обычаю японских гостиниц, нам дали гостиничные кимоно, — и по обычаю японцев — не мыть руки и лицо, а мыться с ног до головы, и мыться мужчинам и женщинам вместе, — мы пошли в бочку, вода в которой градусов в сорок пять по Реомюру: тем полотенцем, которым надо утираться, японцы моются. Вымылись, — наша прислужница забежала к нам в ванну, чтобы сказать, как хорошо поет феода́л. — В нашей комнате мы раздвинули сйодзи, — за стеной замка, под обрывом расстилалась долина, небо очерчивалось горным хребтом, в долине и по горам горели электрические огни, — и, только в Японии мною виденная, была прозрачность синего воздуха, такая синяя прозрачность, которая уничтожает перспективы, лаковая синь, лаковая прозрачность. Во мраке пели птицы, и из-за угла гостиницы, с развалин наугольной башни, долетали слова женщины, очень нежные. По-японски, в кимоно, мы сидели на полу, — нам принесли ужин: сырой рыбы, супа из ракушек, маринованной редьки, рису, — сакэ, японскую водку. Приходил фотограф от местной газеты, фотографировал. — Затем прислужница приносила громаднейшие папки бумаги, где расписыва-



лись все знаменитые гости этой гостиницы, — она показала нам танки, только — что написанные феодалом, — мы должны были написать в этой книге. И тогда нам принесли постилки и ватные, ночные кимоно. Всю ночь пели птицы, в прозрачной сини было видно, как дымит вулкан, села роса, и долго не смолкал женский голос.

Утром бродили по замку; на плацдарме ныне теннисная площадка, забитая детворой; — рисовые склады, богатство феодалов, развалины. Когда с тобою говорят без нет, тогда и да кажется неубедительным. Ужасно, когда ты не понимаешь, что с тобою творится и что с тобою будет, — и когда твоя воля обессилена. Полиция уже была и успела нагадить.

Тогда приходит крестьянин и просит к себе в дом: его дом стоит триста лет, его род всегда был родом слуг вассала, — и мне показывают саблю, которой шестьсот лет, родовую саблю; в этот дом мы входим по всем японским правилам, скинув на пороге башмаки, поклонившись в ноги хозяину и женщинам, которые так же в ноги кланяются нам, — и прежде, чем осмотреть этот крестьянский дом, которому триста лет, на полу мы садимся за чай, за чайную церемонию; — священнейшее в доме и фундаментальнейшее — то место, где хранится рис; ни коров ни лошадей в крестьянском хозяйстве нет, и нет стойл для них; — на кухне дым от хибати идет в потолок, — но мне принесли книгу, чтобы я расписался в ней. — Полиция пришла следом за нами, — выросла стена, в которой нет подразумевается, я ничего не понял, мы ушли. — Наш интеллигент больше уже не показывался, занятый на выставке. Опять пили чай, на выставке смотрели картины.

И оттуда пошли старым самурайским шоссе, в солнце и ветре и в запахе сосен, — в деревню Осато, к писателю — крестьянину Тития-сан. Поля

обложены плотинами из камней, — поля для риса, выверенные по ватерпасу и охолоенные руками. Многие нас обогнали велосипедисты, и однажды — мы обогнали — корову, запряженную в двуколку. Полиция обогнала нас по дороге к Тития-сан, и, все же, он принял нас, молчаливый человек с лицом философа и с руками рабочего. Мы поклонились его дому. Он провел нас в лучшую комнату. По дороге туда я расспрашивал про деревню Осато, — там 650 домов, 3 500 человек жителей, 3 школы — первоначальная, реальное, гимназия, дети учатся вместе, шелко-прядельная фабрика, мыловаренный завод (при чем мыло производится из личинок шелко-пряда), — медоводство, — кролиководство, — электричество. — Везде, везде в Японии в домах и на дворах абсолютная чистота. В Японии не стыдятся естественных отправления человеческого организма, и посреди двора Тития-сан красовался эмалированный писсуар, чтобы собирать мочу для удобрений.

Полиция опередила нас. Тития-сан принял нас. Остаток дня мы бродили по полям вокруг Осато, на кладбище, около храмов, у водопада. Попрежнему дымили вдали вулкан. Люди проходили мимо меня, считая меня пустым местом.

И очень странный, должно-быть единственный в моей жизни, был у меня вечер. Мы — Тития-сан, Сигэмори-сан, Канэда-сан и я — мы сидели в доме Тития-сан у хибати, — Сигэмори-сан и Канэда-сан — японские писатели, мои друзья, поехавшие со мною. Тития-сан был непонятен мне, как все японцы, которых я не умею понимать сразу. Мы говорили с ним через переводы Канэда и Сигэмори. Мы пили сакэ. Японцы после третьей чашечки сакэ жутко багровеют, и их глаза наливаются кровью. Тития-сан показывал свои фотографии, книги и альбомы, где на память ему писали его друзья худож-



ники и писатели. Все было так, как должно было быть в Японии. И тогда в торжественности и строгости, в жестокости глаз, налитых кровью, Тития-сан сказал такое, что я не понял сразу. Сигэмори и Канэда перевели мне: —

— Отец Тития-сан был убит русскими, в Мукдене, в Русско-Японскую войну. — И тогда, мальчиком, Тития-сан поклялся отомстить за отца первому русскому, которого он встретит, — убить первого русского, которого он встретит. — И первым русским, которого он встретил, — был — я, он должен был убить меня. Но он, Тития-сан, — писатель, — и я — писатель. Он, Тития-сан, знает, что братство искусства — над кровью. И он предлагает мне выпить с ним братски сакэ, по японскому обычаю поменявшись чашечками, — в память того, что он, Тития-сан, нарушил клятву. — —

— — не хорошо прийти в дом, в тот дом, где твои соотечественники убили человека... — я проснулся на рассвете под пение петухов, в доме Тития-сана. Вчера я написал Тития-сану — кисточкой, тушью — какэмоно<sup>1</sup> о наднациональных культурах и о братстве, — а сейчас в этот соловьиный рассвет я думал о том, почему соловьиный этот рассвет похож на наш русский, — но говорим мы, люди, по-разному, когда птицы говорят одинаково...

Я тихо поднялся, раздвинул сьодзи: над землей творился фарфоровый японский рассвет, роса тяжелыми гроздьями умыла цветущее дерево магнолии, и магнолии пахнули, как подобает, мертвецами. В кимоно, я всунул босые ноги в гэта, в деревянные скамеечки, на которых ходят японцы, и — один, без друзей и полиции, пошел к горам повстречаться с рассветом. Рядом шумел ручей, внизу, под обры-

---

<sup>1</sup> Японское стенное украшение.



вами клокотала река. Каменной лесенкой я пришел в рощицу азалий, сгорающих красною тяжестью своих цветов. Каменная тропинка вела на кладбище. За мной никто не следил, кажется, единственный раз в Японии. Вдалеке дымился вулкан, направо и налево уходили горы, рядом со мною были рисовые поля. И глубокая была тишина. На кладбище в печали я смотрел на мисочку с рисом и на палочки, которыми едят, положенными около могилы, — и около другой могилы лежал ошейник: японцы хоронят и людей и животных вместе. Кладбище заросло печалью бамбуков. Около кладбища стоял храмик — величиной с нашу собачью будку, не больше. Я посидел у храма, покурил и пошел дальше, к платановой роще, без дороги, кустарниками. И там я увидел таинственнейшее в природе человека: в чаще деревьев около храма стояла женщина, женщина обнимала клиноподобное каменное изваяние, лицо ее было восторженно. Она молилась, какому богу — я тогда не знал. Я понял, что я присутствую при таинственнейшем. Я не стал мешать женщине, этой женщине в бабочкоподобном оби, японском поясе, на деревянных скамеечках, с непонятною для меня красотою лица. — И тогда еще я думал, что надо написать рассказ, как Япония — затянула, заманила, утопила, забучила иностранца, точно болото, точно леший, что ли: — всем сердцем я хотел проникнуть в душу Японии, в ее быт и время, — я видел фантастику быта, будней, людей — и ничего не понимал, не мог понять и осмыслить, — и понимал, что вот эта страна, недоступная мне, меня засасывает, как болото, — тем ли, что у нее на самом деле есть большие тайны, — или тем, что я ломлюсь в открытые ворота, которые охраняются полицией именно потому, что они пусты. Та тема, которую ставили себе все писатели, побывавшие

в Японии, тема о неслиянности душ Востока и Запада, о том, как человек Запада засасывается Востоком, деформируется, заболевает болезнью, имя которой «фебрис ориентис», что ли, — и все же выкидывается впоследствии Востоком, — эта тема была очередной и у меня.

Потом, после того рассвета, были еще дни в солнце, ветре, в цветущей земле,—в пути по горам и в бегах от полиции. Все эти дни я жил, пил и ел по-японски,—и все эти дни я хотел по-японски думать и видеть. — Горные тропинки и горные трактиры — всегда прекрасны. У Янагисава-сан мы рассматривали японскую старину, и он подарил мне наконечники от древних стрел, еще айноских, кремневых, — и он водил меня на свои раскопки, к памятнику айну, древнего народа, населявшего Японию: там были солнце, сосны и бодрый с океана ветер. — И он же показывал мне вишневое карликовое дерево, в поларшина величиною и в десятки лет от роду. — Очень долго, тоннелями, мостами через пропасти, прекраснейшими пейзажами — от за-полдней до вечера поездом — мы ехали в Камисуа, к минеральным источникам, к гейзерам. Все было, как следует: на станции встретил шпик, сопровождавший ину передал нас ему; — в гостинице было много народу; — из гостиницы, когда открыты шодзи, видны бассейны, где купаются люди в воде, выброшенной гейзером, мужчины и женщины, ничем не разделенные. За день было очень много солнца, пути и раздумий, — и мы заснули под рожок продавца бэнто, ужина для бедняков, и под пение за стеной гейш. Утром мы ели рис, суп из морских водорослей и соленые сливы. Опять, как всегда, была сумятица, когда гадит полиция и когда не говорят нет, которое надо подразумевать. Пред-



полагалось, что с самого раннего утра мы поедем в горы, к хуторянину, на шелководческую плантацию,—и время потащилось клячей. Я ходил бриться и на выставку местной промышленности (в Японии—на каждом перекрестке и к каждому случаю—выставки), смотрел на выставке, как бегают игрушечная железная электрическая дорога. А когда вернулся, меня уже ждала машина с врачом одной из местных шелкопрядильных фабрик.

Мимо озера мы поехали на фабрику. Как подобает, нас поили в конторе чаем.

Шелкопрядильное производство, выварка и размотка коконов, скручивание прядей — общеизвестны. Нигде нет такой чистоты, как в Японии,—и абсолютная чистота была на этой фабрике, куда работницы и мы входили, сняв башмаки, в одних чулках:—и на фабрике, на всей фабрике не было ни одного места, где человек был бы хоть на момент один сам с собою,—уборные построены посреди двора и так, что там все видно:—это и потому, что у японцев не стыдятся физических человеческих отправлений, и к тому, чтоб прядильщица не могла побыть одной, не могла б потихоньку прочитывать и написать письма, ибо все письма, приходящие из-за фабричного забора, перлюстрируются, ибо без разрешения администрации нельзя выйти за забор, ибо эта японская фабрика больше походила на тюрьму, где девушки запроданы на два, три года. Прядильщицы сами о себе поют такую песню:

Если можно назвать прядильщицу человеком,  
то и телеграфный столб может расцвести — —

но дело сейчас не в этом. Полиция опоздала, прозевала нас. И тогда началась сумятица. Зарявкал автомобиль, — мы должны были ехать на хутор, но мы оказались в новой, не в той, где ночевали,



гостинице, и тут же по непонятным причинам оказались наши чемоданчики; — мы совершенно недавно завтракали, а тут на столе оказался обед, которого есть мы не хотели и времени которому не было, — и, кроме нас, за столом на полу оказались посторонние люди, которых я не приглашал. Я ничего не понимал, а вежливость мне не позволяла перейти на истинно-русский язык. Все делалось и очень поспешно, и очень медленно, — и во всяком случае очень методично. Из-за стола, что вообще считается неприличным, меня вызвали на улицу (к озеру) фотографироваться. — —

И все это кончилось тем, что меня замертво везли на вокзал; в поезд, в Токио, — и, мучась отчаяннейшими болями в желудке, я хотел только одного: скорее приехать в тот дом, который я считал своим, чтобы говорить по-русски и быть среди своих соотечественников. Я не знаю, мне кажется, но утверждать я не могу, что меня отравила японская полиция, чтобы ликвидировать мною настырность в поисках деревенской Японии и японского быта, ключей к нему, — но так или иначе, без всяческих дураков, в поезде тогда я, в полубреду, думал уже не о том, как может заболачивать Восток, а о том, как выпирает он, выталкивает из себя пробкою из квасной бутылки; поминая Кицлинга, я думал о том, что никогда человек Запада не проникнет в душу человека Востока, — и у меня ко всему — всяческая — пропадала охота.

Так закончилась моя поездка на Синсю.

# ИЗЛОЖЕНИЕ



## 1. ВУЛКАНЫ

В учебниках строения Земного Шара сказано, что Японский архипелаг являет собою две складки вулканических цепей, пересекающие друг друга, из которых одна идет со дна океана, другая с Курильских островов, — и что не исключена возможность, если обе эти вулканические системы будут действовать одновременно, — не исключена возможность того, что весь Японский архипелаг в громе (или, точнее, беззвучии) землетрясений и вулканических извержений — исчезнет с лица земли, провалится в море, — исчезнув, возникнет где-нибудь в океане новыми островами. Я сказал — в беззвучии землетрясения: министр Патэк, который рассказывал мне о землетрясении 1923-го года <sup>1</sup>, пережитом им в Иокогаме, говорил мне, что он не слышал шума, так он был велик, и когда он говорил со своим лакеем, он видел, что губы лакея двигались кинематографически. В эти дни землетрясения, продолжавшегося четверть часа, на одной из площадей Токио умерло, сгорело, задохлось в дыму — сорок тысяч человек. Министр Патэк говорил мне, что самым страшным в первый момент было то, что он, человек, министр, шедший со своим лакеем, вдруг почувствовал, как потерялась его воля: не кто-нибудь

---

<sup>1</sup> См. I-ую глоссу Р. Кима.



иной, а госпожа земля—кинула его вверх, потрянула об стену, швырнула к другой стене. Тогда, на токийской площади, люди сгорали и задыхались в течение трех дней — —

— — я должен тут перебить себя, чтобы не возвращаться к этому впоследствии; должен сказать немного, что нужно мне для дальнейшего. Министр Патэк говорил мне, что первое движение японцев, которое было в момент землетрясения, это было — не двигаться. В Иокогаме разорвало плотины, вода из моря полезла на землю, вода из озер заливала парки, нефть из цистерн горела на воде, был такой шум, что для человеческого уха он превратился в беззвучие. Министр Патэк потерял своего лакея. Тогда пришла ночь, полыхающая невероятными заревами. Министр Патэк оказался в одном из парков, по грудь в воде. Там он встретил — забыл — не то английского, не то германского посла: жизнь есть жизнь, и по грудь в воде, посол и министр вели соответствующие их рангу разговоры и возмущались обстоятельствами. Так вот той ночью между огней, по шею в воде, со своими бумажными фонариками, ходили люди, выкрикивая:

— Люди, кто может сказать о таком-то или таком-то, там-то работающем, принадлежащем к такому-то роду и носящем такое-то священное имя — —

— — так одни разыскивали других, дети отцов, отцы детей. И при министре Патэке, так выкрикивая, отец нашел свою дочь. Они не бросились друг другу в объятья, — нет, — они поклонились друг другу тем глубоким поклоном, которым кланяется японская вежливость, с руками на коленях и с шипением губ, они поздравили друг друга добрым вечером, они не коснулись друг друга. Первым движением японцев в землетрясение было — не двигаться, осмотреться, решить, организовать первы.



Те сорок тысяч, что погибли на одной из токийских площадей, погибли так: вокруг горели кварталы, их засыпало горящими галками, они стлевали в огне,—пожар кварталов съедал весь кислород, люди обугливались от сжигающего жара. Кругом горели кварталы, людям некуда было уйти. Когда, после пожаров, оставшиеся в живых пришли раскапывать мертвецов, эти живые увидели, что эти мертвецы умерли, обуглились в совершеннейшем порядке, строгими шпалерами,—живые под мертвецами нашли живых детей. Взрослые, организованно обугливаясь, умерли без паники, почти без паники и — во всяком случае, обугливаясь, — углем своих тел — спасали детей. Люди обугливались стоя, никуда не бежав. — Эта выписка в скобках — понятна в дальнейшем. — —

— — Министр Патэк видел, как, в беззвучии кинематографа, многоэтажные дома раскалывались, рассыпались, падали вниз, и из этих расколов, из щелей летели люди, кастрюли, несгораемые ящики, рояли, куски людей...

Япония еще не окончательно отлила свои формы. Восточные ее берега все время поднимаются, западные — уходят в море. В Токио, в Асакуса, там, где стоит храм Каннон, на памяти человечества было морское дно. Мне показывали деревушку, домики которой наполовину стоят в воде, домики не разрушены, как музейный обиход: десяток лет тому назад они были простой деревушкой, земля под ними уходит. Фудзи-сан, гора, о которой знает каждый человек в мире, и она каждое десятилетие меняет свои очертания. Земля японских островов, тех островов, на которых живет тысячелетний народ, брат греков,—эта земля — движется всегда, постоянно, каждую минуту, — эта земля сотрясается грохотом вулканов, на эту землю в эти грохоты вулканов



набрасываются волны океана, чтобы дать новый кусок земли или отнять. На этой земле живет тысячелетний народ: о легендах этого народа, связанных с тем, что их земля движется, — не место здесь говорить. — Я летал над Японией, от Токио до Осака. Все знают, что Японский архипелаг — красивейшее в мире место, красивейшего моря, красивейших гор, дорог, пагод, храмов, пейзажей, зеленей, голубизн, оранжевостей, тишины: все это совершенно верно. Но я видел Японию по-другому: оттуда, из высот, с трех тысяч метров над землей, было видно, как эти японские горы выпирают из голубого моря, черный, злой камень, или вылезший из глубин помимо его воли, или — тоже помимо воли — просыпанный с неба: камень, камень, камень — злой камень, не нахожу другого слова. Там, в высотах, мы угодили в воздушную бурю, а над землей под нами шли тучи, дожди и молнии. И было так, что на какие-то минуты (минуты в воздухе — часами) земля исчезла из-под нас; и затем земля вырвалась из облаков: и я увидел, какая это страшная земля, изорванная обрывами и водопадами, разметанная камнями, лысыми вершинами, — это была страшная, злобная, желтая земля, желтая, как лицо иссохшего старика-японца. Один — не помню кто — француз-писатель недоумевал, как у этого солнечного, всегда приветливо улыбающегося народа, народа, создавшего женщину, как мотылек, — как у этого народа могут быть такие страшные, чортоподобные, ужасные боги, покоящиеся в их храмах, — тем паче (прибавлю к французам от себя), что каждый умерший в Японии переселяется в полубогов. — Метафизикой я не занимаюсь, но знаю, что тогда эта страшная земля из-за туч, в громе молний, сверкающих внизу, — была совершенно похожа, — была судорогой чортоподобных японских богов, страшная, ужасная земля.



...23-го марта в три часа двадцать минут я впервые испытал землетрясение. Было все очень просто. Был подземный толчок, чуть качнулся, заскрипел и зазвенел стеклами дом, чуть качнулись вещи на моем столе, чуть качнуло меня. — — За все недели и месяцы моего пребывания в Японии очень и очень многие разговоры, которые велись со мною японцами, начинались фразами: — «а вот, до землетрясения — а вот, когда было землетрясение — а вот, после землетрясения» — — точно землетрясения суть исторические эры. Да так, в сущности, и есть для японцев. — Да, у японцев — колоссальная организованность и работоспособность, ибо мне говорили, что большая половина Токио была сравнена с землей, я же видел огромный город, тесно застроенный и напряженно работающий. Но дело не в этом. Тогда, 23-го марта, я принял землетрясение не в плане поломанных костей и сожженного человеческого мяса. Тогда, в ту минуту, когда меня толкнуло не чем иным, как госпожей землей, не остывшей еще от космических действий землей, — я почувствовал на момент свое прикосновение к космосу, к тому великому и незнаемому и таинственному, что именуется Земля, что именуется космическими силами. И мне стало торжественно. Я — бессилен перед гражданином космосом, — но космос — был у меня в гостях, это он толкает меня сейчас, это я — участник, пусть пассивный, космических работ... Позднее, бродя по Японии, у источников горячих ключей, около гейзеров, наблюдая за дымом вулканов, я всегда торжественно думал о космосе, не застывшем еще для этих островов.

Но землетрясений было еще много. Однажды нас потрянуло на улице Коганэи, куда мы большой компанией японских писателей поехали на праздник цветения вишни; мы шли по улочке, — и вдруг вся улочка качнулась в моих глазах справа налево, сверху



вниз, очень похоже на то, как получается на фотографических снимках, если, снимая, толкнули аппарат, — и ноги мои заплелись в беспомощности; правда, у толпы первым движением было — не двигаться; — зазвенела и посыпалась посуда в соседней лавочке; — черные, пуговицами, вишенки глаз семилетней девочки раскосились в страшной, недетской сосредоточенности. — Раза три землетрясение приходило ночью, заставляя меня в постели.

И вот, каждое новое землетрясение — никак не приучивало меня к себе, никак не позволяло мне привыкнуть к ним: с каждым новым землетрясением все меньше было торжественности в мыслях о космосе, — и уже не от мозгов, а со спины, от позвонка приходил — совершенно обыкновенный страх, — очень похожий на тот страх смерти, который приходит к человеку в дни неврастения, космический страх — перед этим «гражданином» космосом, с которым ничего не поделаешь и который каждую минуту может тебя так потряхнуť, что ты вместе со всей Японией не найдешь себе места во вселенной. —

Я жил в Японии — месяцы, — но японский народ живет по соседству с этим космосом — тысячелетья: стало-быť, должен привыкнуть к нему и привыкнуť? — стало-быť, научился бороться с ним, обходить его, приспособлять к нему свой быť; ломаные кости и испепеленные, обугленные человеческие десятки тысяч — не даются даром; весь легендарный мир японского народа упирается в землетрясения, — знает ли об этом японский народ? .. — легенды японского народа о божественности его происхождения — рождены: вулканами. — Социологам надо иной раз посидеть на краешке кратера дымящегося вулкана, посматривать в космическую дыру кратера и — никак не поплевывать на социологию, порождаемую вулканами.



## 2. БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, СПРАВКА

Япония — страна, лучше всего опровергающая теории Шпенглера, ибо эта страна существует уже тысячи лет, сверстница Греции, племянница Ассирии и Египта.

---

## 3. ДВЕ ДУШИ ПРИНЦИПОВ «НАОБОРОТА»

Мы вливаемся в потоки людей, в шумиху улиц, звонки, крики, выкрики, тесноту. Шумиха улицы впирает нас под крыши вокзала, в перроны, в загородки у касс. Пригородный поезд высыпает из вагонов шумы гэта, разменивает людей. Вагоны полны. Это час, когда вышли вторые выпуски газет,—поезд трогает, и вагон затихает в поспешном шелесте газетных листов. Толпа в национальных костюмах, люди оставили гэта под скамьями, с ногами забрались на скамьи, и вагон шелестит газетными листами: невозможно представить рязанского крестьянина в национальном гречневике и с газетой. — Поезд мчит стремительно, движимый электричеством. — А за окнами, в солнце, в пестряди — те шалаши, которые называются японскими домиками, которым тысячеletье от роду и которые закутаны тесной сетью электрических, радиальных, телефонных и прочих проводов. Мы едем в Токио-фука, примерно в наш Серебряный Бор, к писателю Акита-сан<sup>1</sup>. Мы слезаем, нас разменивает вокзал. Нас везет рикша в лакированной колясочке на дутых шинах, на рикше халатик, раздувающийся по ветру, на спине халатика — красный круг, герб его цеха (у всех рабочих такие халатики,

---

<sup>1</sup> См. глоссу II.



и у всех на спине знаки, гербы их цехов и фирм). Улочками с трудом разъезжаются два рикши, фонари висят над головами, рябит в глазах от лака и золота вывесок, — тысячи велосипедистов, кажется, срослись со своими велосипедами. Мой рикша звонит в свой никелированный звонок. Затем мы идем пешком, мимо столетних деревьев, мимо храма, в воротах которого корчат страшнейшие рожи чортоподобные боги, а из чайного домика у ворот слышится музыка сямисена и пение гейши. Наконец, мы приходим к домику Акита-сан, мы открываем решетчатую калитку, и мой спутник, писатель Канэда-сан, говорящий со мною по-русски, — приветствует по-японски дом. Нам навстречу выходит девушка. Она падает на колени перед нами. Канэда-сан падает перед нею на колени, они приветствуют друг друга, — а я стою в растерянности, не зная, пасть мне на колени, или, вообще, что делать. — (Впоследствии я научился падать на колени.) — Мы снимаем наши башмаки и в одних чулках входим в домик, в этот таинственный японский домик, где стены сделаны из провощенной бумаги, — сьодзи, — и эти сьодзи раздвигаются так, что у домика можно убрать все стены, — где нет никакой мебели, пустые комнаты с хибати, камельком, никогда не потухающим, посреди комнаты и с какэмоно, картиною, в священном углу. Девушка вновь кланяется нам в ноги. Канэда-сан говорит мне, что это дочь Акита-сан. По лесенке, стоящей почти отвесно, мы поднимаемся во второй этаж, в кабинет Акита-сан. Этот кабинет таков величиною, что пятерым там на полу лечь уже трудно. Стен в кабинете нет — все они до потолка завалены книгами. Акита-сан сидит около хибати, греет над тлеющими углями свои руки, — кажется, он сидит зарытым в книги, и вот-вот книги его закопают в себе. Канэда-сан кланяется ему по-японски, земным поклоном, — мне



Акита-сан по-европейски дает руку. Акита-сан — один из крупных японских писателей, драматург и поэт и философ. К нам вползает его дочь, вновь кланяется в землю, она похожа на кролика, потому что ноги ее все время подогнуты, чтобы ей пасть на колени, у нее — ни одного некруглого движения. На полу перед нами она расставляет чашечки с японским чаем и уходит, пятясь к лестнице. Мы сидим на полу около хибати, грея над хибати руки, курим и пьем этот пустой чай, от двух чашек которого начинается сердцебиение. Хибати — это глиняная корчага, доверху насыпанная золой, в золе тлеют никогда не стухающие угли; — хибати — единственный способ отопления, — хибати сохранился от веков, от тысячелетия, от кочевий. Акита-сан показывает прекраснейшие книги, японские и европейские. Он показывает мне книги Арисима-сан, его автографы, крупнейшего японского писателя, разрешившего узлы своей жизни — смертью, повесившегося вместе со своею любовницей, чужою женою. Канэда-сан передает мне содержание последней поэмы Акита-сан — «о лютых законах»:

... Лютые законы, глумящиеся над истиной,  
Низвергнуть время настало!  
Эй, поднимайтесь, смелее, рабочие, —  
Наша победа близка!.. — —

— — в чем дело? — кто сидит передо мною, около хибати, на полу, в этом шалаше, заваленном книгами?! — —

— — на утро, на следующий день Акита-сан заехал за мною, чтобы вместе пойти в Цукидзи театр, в театр Осанаи-сана. С Акита-саном пришла молодая девушка в английском выходном костюме. Она первая поклонилась мне и протянула руку, — «лэдис фирст!» — она заговорила по английски, европейка.



Я смотрел недоуменно: я не узнал в ней той самой девушки, которая вчера кланялась мне в ноги и подавала белый чай. Акита-сан был в бархатном пиджаке с большим черным бантом, как часто европейские художники.

... Я думаю о старой и новой Японии. Я знаю: то, что создается веками, не может исчезнуть в десятилетия. Как старое и новое сплелось в Японии? — какими силами? — Говорят, что сердцем Япония — в старом, умом — в новом. Быть-может, ум и сердце японского народа идут рука об руку. Но, во всяком случае, — каковы те силы, которые есть в японской старине, силы, давшие народу умение принять все новое? Воля японского народа звучит костяным шумом гэта.

Но глаз европейца, сына западной культуры, вся страна, весь быт и обычаи японского народа построены по принципу — «наоборот», — наоборот тому, что принято в Европе. Я ниже пишу о маршале Ноги: в Японии почетно самоубийство, в Европе оно почитается позором. В Европе женщина — по крайней мере в идеалах — впереди, в Японии — позади. В Европе говорят: «гражданин Петр Иванов, мистер Стивен Грэм», — в Японии сначала фамилия, потом имя, потом «сан». Тот жест, которым в Европе говорят «уходи от меня», в Японии является жестом «подойди ко мне». В Европе пишут слева направо горизонтальными линиями, в Японии пишут справа налево вертикальными линиями. В Европе в опасных и неприятных случаях лицо делается сумрачным и натянутым, — в Японии в этих случаях смеются и улыбаются; когда европейец задумывается, сосредотчивается, его лицо делается умнее, осмысленней, — когда думает японец, на глаз европейца лицо его становится идиотственным. О настроении европейца и о состоянии его духа всегда можно узнать по его



лицу, — лицо японца никогда не скажет об этом, не выдаст японца, — о состоянии духа японца можно узнать по его рукам, по их движениям, — руки европейца ни о чем не говорят. Японцы строгают фуганком, двигая им к себе, европейцы строгают фуганком, двигая его от себя. У нас, если очень рассердятся, покроют матом, даже на английском языке, — у японцев самый высший вид оскорбления сказать — вежливейше — о том, что «я так глуп, что не могу понять моего собеседника», — дескать, собеседник тратит время на разговор с дураком. Все это примеры полуанекдотического характера. Но вот пример уже без всяких анекдотов. Психика европейца построена на утверждении будущего, строительстве будущего, — психика японского народа построена на утверждении прошлого, этот их культ почитания предков, делающий страну страной мертвецов, страной, где командуют мертвецы, — где поэтому студенты Токийского университета в анкете на вопрос, как они мыслят свое жизненное назначение, в подавляющем большинстве ответили, что они социалисты и они хотят народить детей, достойных их предков, — где, как известно из любой книжки о Японии, самым чтимым являются дети, эта переходная ступень к отмиранию, где смерть почетна, как рождение. Психика японского народа построена на утверждении смерти, страна, управляемая мертвецами, — тем непонятнее, как эта страна нашла силы справиться с Европой. —

... Япония презирает боязнь индивидуальной смерти: те военнопленные, которые вернулись после Русско-Японской войны на родину, были преданы — презрепию, — эти, «не сумевшие найти времени распороть себе живот», — от них отказались их семьи. Как известно, в шестнадцатом веке в Японию проникло христианство, которое было там запрещено:



христиан узнавали просто, — подозреваемым предлагали пройти по образу богоматери со Христом, — и христиане отказывались идти по образу Христа, тогда их душили, распинали, или бросали в кратеры вулканов; к слову сказать, — о жестокости: во Владивостоке японцы, в том же двадцатом году, бросали русских коммунистов — в паровозные топки. — В морали европейских народов, несмотря на их присутствие, аморальными считались и почитаются — сыск, выслеживание, шпионаж: в Японии это не только почетно, — но там есть целая наука, называемая Синоби или Ниндзюцу<sup>1</sup>, — наука незамеченным залезать в дома, в лагери противника, шпионить, соглядатайствовать (поэтому, в скобках, пусть каждый европеец знает, что, как бы он ни сидел на своих чемоданах, они будут просмотрены теми, кому надлежит) — и здесь порождается легенда о том, что каждый японец за границей — обязательно государственный шпион.

---

#### 4. ХАРАКИРИ<sup>2</sup>

Я был в доме маршала Ноги, в том доме, где он вместе с женою сделал себе харакири, — в том доме, около которого теперь храм маршала Ноги. Этот дом теперь — достояние музеев, — храм около дома — достояние молящихся, — Ноги — национальный герой. Имя Ноги известно в России, ибо это один из маршалов, побивших Россию. — Таинственная, непонятная история! — перечитайте Гончарова. Маленькая страна, населенная смешными людьми с веерами, живущими в домах без столов и стен, поедающими рис и кузнечиков палочками, отождествляющими душу мужчины

---

<sup>1</sup> См. глоссу III.

<sup>2</sup> См. глоссу IV.



с цветком вишни, — страна, которая на глаз европейца всеми своими красотами кажется театральной декорацией, да еще такой, которую видишь сквозь бинокль, приставленный к глазам той стороной, которая уменьшает. У Японии была фантастичнейшая эпоха, когда с начала семнадцатого века на два с половиной столетия до середины девятнадцатого — Япония заперлась для внешнего мира. В те столетия, когда Земной Шар пошел колесить океанами, Япония жила при двух монархах, при бессильных и божественных микадо и при всемогущим и земным сёгунам Токугава, запертая на своих островах, консервируя свои тысячелетия, свой феодализм, свои храмы и своих самураев. Все это было семьдесят лет тому назад, когда американский коммодор Перри пушками, а русский адмирал Путятин страхом своей эскадры (с Путятиным был и Гончаров) впервые «отперли» для мира Японию. Эпоха затворничества называется эпохой Токугавы, — эпоха выхода в мир называется эпохой Мэйдзи. Императором Муцухито был уничтожен сёгунат и феодализм, была дана конституция, были построены дредноуты, были побиты мы. Эту эпоху японцы называют — эпохой реставрации, — в плане западно-европейских понятий ее следует считать революционной эпохой. Одним из ближайших сподвижников микадо был маршал Ноги. В дни, когда умер император Муцухито, переименовавшись после смерти в Мэйдзи, накануне похорон, — маршал Ноги совместно со своей женой сделал себе харакири, это было в 1912 году. — Утром в тот день, вышед со своего Акасака, Хиноки-тьо, року бантьо (мой токийский адрес), я пошел на выставку флагов, бестолковую, по-моему, выставку, ибо — какой интерес смотреть бумажные флаги всех национальностей мира, которые я помню еще с детских рождественских елок —?! — Обратно я проходил мимо парка и



переулочка, ведущего в парк, так же, как у нас на Пречистенках в особняки. Я пошел туда. Там стоит небольшой домик, по-нашему вроде тех, где по уездам живут земские врачи и агрономы. Там вокруг дома проложена галлерейка, откуда видна внутренность дома. На взгляд европейца — это пустой дом: ни одного стола ни одного стула, пол покрыт татами (циновками), какэмоно на стене, туалетный столик в комнате жены, такой, перед которым надо одеваться, сидя на полу, — письменный стол маршала, такой, за которым надо писать, сидя на полу, — и все, больше ничего. В угловой комнате указаны места, где сидел маршал и его жена в момент, когда они сделали себе харакири. Там в углу трубкой свернуты циновки, залитые кровью маршала и его жены. Они перед смертью сидели на полу посреди комнаты, около хибати. — Маршал и его жена перед смертью написали танки. Быль жизни маршала Ноги и его смерть — суть экстракт понятий японского народа о чести и правильности жизни, — маршал Ноги — национальный герой, патриот и гражданин своей родины. Обстановка его дома, тот быт, в котором он жил, — до аскетизма просты: и до аскетизма проста его смерть, ставшая над смертью. Вокруг дома маршала Ноги растут тенистые деревья, те деревья, которые дают покой нервам, — вишневые деревья (они в Японии величиной с березу), цвет которых есть символ души мужчины: вишневые цветы в Японии делают себе харакири, то-есть особым таким ножом разрезают себе живот... Я ушел из дома Ноги, из парка, где приютился храм его имени, — малость обалделым.

Все это было утром. К часу приехал профессор Нобори-сан <sup>1</sup>, и мы поехали на могилы сорока семи самураев. Там, опять под деревьями, стоят камни

---

<sup>1</sup> См. глоссу V.



могил, сорок семь камней. Там бьет из земли ключ, в котором они обмывали отрубленную голову того, из-за которого эти сорок семь «ронин» сделали себе харакири. Там есть музеек, где помещены остатки одежды этих самураев (у японцев ко всему музей и выставка, в этой стране мертвецов и почитания умерших). Там у могил я не смог долго быть, у меня стала кружиться голова от дыма сандаловых курений, тлеющих перед каждой могилой, от этого синего дыма, которым очень пахнет Япония и от которого следует — на мой нос — задыхаться. Начало этого исторического эпизода с сорока семью самураями мне неизвестно. Середина и конец этого эпизода таковы. Сорок семь самураев поклялись отомстить за своего даймё, обиженного приближенным сёгуна, при чем их даймё впал в немилость сёгуна, или что-то в этом роде. Двадцать один месяц эти сорок семь человек искали случая убить обидчика их барина, нашли, убили, — и не нашли нужным об этом скрывать, собрались вместе, на будущей своей могиле, оповестили о своих делах, сдались на милость сёгуна и — все вместе, два месяца спустя, одновременно сделали себе харакири. Теперь они обожествлены. Их смерть — сюжет самурайских гордостей, романов, поэм, драм, кино. Около могил сорока семи самураев — маленькая ярмарчишка. Я там купил лубков, изданных в память этих обожествленных людей, ставших в понятии национального героизма в ряд с маршалом Ноги.

## 5. ЙОСИВАРА, ОЙРАН, ГЕЙШИ

Я был в публичных домах и притонах — Москвы, Берлина, Лондона, Константинополя, Смирны, Шанхая. И везде в этих публичных домах и притонах одно и



то же — окончательное обнажение всего, что принято человеком скрывать и что принято считать европейскою честью. Там, в этих кварталах, главным образом, в алкоголе и — решаяще — в похоти, ставшей, как алкоголь, до судороги доведено всяческое издевательство над человеческой личностью, там судорогой бродит испепеляющее проклятье, пороки, мерзость, сифилис и грязь.

И я был в Йосиваре, в районе токийских публичных домов. Йосивара — точный перевод — счастливое поле.

И никогда ничто меня так не ошарашивало, как Йосивара, — совершенной для меня непонятностью. В этом районе все было залито светом, в тесноте улиц шли дети, школьники, что-то покупали и мирно разговаривали, проходили матери, под вишневыми деревьями, в шалашиках торговали продавцы, шли с работы и на работу мужчины. Было совершенно обыкновенно, только больше чем следует свету, только чуть-чуть теснее. И у домов, около хибати, выставленного наружу, грея руки и не спеша, сидели мужчины, посвистывая и пошипывая, те мужчины, у которых можно посмотреть фотографии ойран, проституток. Мы входили во многие дома; без водки, в тишине, предложив нам разуться (с европейцами, которые часто попадают в Йосивару пьяными, случается часто, что, чтобы не переобуваться каждый раз, они так и шлепают из одного дома в другой в одних чулках!), — мы разувались, нам в ноги кланялась пожилая женщина, в тишине дома мы проходили в комнату, нам приносили чай, мы садились на пол, — и тогда проходили дэйоро, ойран, абсолютно вежливые, как все японки, совершенно трезвые, тихие, ласковые, улыбающиеся, здоровые.

И вот то, что на улице совершенно обыкновенно ходят дети и торгуют торговцы, что эти женщины



не пьяны, нормальны, вежливо-приветливы и здоровы, — это и было окончательно ошарашивающим, вселяющим в мои мозги нечто такое, что мне, европейцу, указывало большую нормальность в смирнских тартушах и берлинских нахтлокалах, чем в Йосиваре.

Только после землетрясения 23 года упразднены празднества Йосивара, когда в Йосивару стекались тысячи людей, женщины из Йосивара, украшенные вишневыми цветами, шли процессией, и всенародно здесь избиралась красивейшая ойран. Но первая лицензия, данная на постройку домов после этого землетрясения, дана была — Йосиваре: тогда шумелось в газетах, и установлено было, что Йосивара — общественно необходима для здоровья нации и для сохранения устоев семьи в первую очередь. Лицензии, выдаваемые государством на право проституции, есть статья государственного дохода, никак не аморальная.

Все народное творчество имеет сюжеты, связанные с Йосиварой, — нет спектакля в классическом театре, где не было бы эпизода из бытия Йосивары. Каждый дом в Йосиваре имеет длинную свою и почтенную историю, свои исторические анналы. Город Фукаока гордится собою — тем, что в нем появилась первая проститутка, она была самурайкой, могила ее чтится, и на могиле ее каждый год бывают торжества. Спрашивают девочку: — «кем ты хочешь быть?» — и девочка отвечает: — «женщиной из Йосивары!». — Если бы я узнал, что я существую за счет сестры-проститутки, — если бы я не застрелился, то наверняка много бы мучился этим; — если бы я был японцем, я мог бы быть этим горд.

Часть женщин в Йосивару идет по призванию, по склонности, других туда продают отцы и мужья: — потом, выйдя из Йосивары, эти женщины или выхо-



дят замуж, или возвращаются к своим мужьям. Это никак не позор — быть женщиной из Йосивары. Проституция очень часто бывает товаром, которым торгуют для поправления бюджета.

Нация позаботилась, чтобы дело проституции было в хорошем состоянии, — частной проституции — нет, проституция огосударствлена, в коридорах висят, в абсолютном порядке, кружки с марганцовокислым калием, — на выставках выставлены катетры, половые органы из папье-маше, проверенные медицинским надзором и полицией, — частно-практикующим проституткам лицензий на проституцию не выдается, проститутки собраны в Йосиваре (Йосивара — имя собственное, присвоенное району публичных домов Токио, такие же районы, под другими именами, разбросаны по всей Японии).

Но <sup>1</sup> пол всегда упирается в метафизику, и недавно еще кое-где в Японии, при храмах, — были жрицы — божественные проститутки, кадр этих женщин возникал и по призванию и по рождению, — через них люди прикасались к богу. Тай-ю — высший титул проститутки. Буддийский первосвященник, глава Хонгандзи, женатый на принцессе крови, имеющий титул Восседающего на Тигровой Шкуре, — имеет право на Тай-ю, — и в регламентные дни Тай-ю приезжает к Восседающему.

Мне кажется, к половому акту японский народ относится, как к естественнейшему и священнейшему делу, никак не позорному. У японского народа до сих пор сохранился фаллический культ.

Писатель Мусякодзи <sup>2</sup>, менажируя ан-катр, в печати обсуждал этот менаж, и в печати же выступала его жена.

---

<sup>1</sup> Абзац написан по справке проф. Е. Г. Спальвина.

<sup>2</sup> См. глоссу VI.



Со мною был такой случай; собираясь путешествовать в горы, в добродушном сердечном, я пригласил с собою одну мою японскую приятельницу, — и на другой день, через переводчика, она передала мне, что она согласна поехать со мною в качестве моей любовницы.

Ярчайше выражен в Японии мир мужской половой культуры. Мораль и быт японского народа указывают, что женщина никогда не принадлежит себе: родившись, она есть собственность отца, потом мужа, потом старшего сына. И та женщина, судьба которой ссудила ей быть матерью, — есть только мать, ибо священнейшее у японского народа — дети. Она не должна крикнуть при родах, — на свадьбе родители ей дарят нож и икру, — икру, чтобы она плодилась, как рыба, — нож, чтобы она знала подчинение мужу, путь от которого — ножом — в смерть. А в те дни, когда она беременна, она ведет мужа в Йосивару. Но женщина может быть бездетна, — тогда это повод или к разводу, или к тому, чтобы — жена же — озаботилась поисками наложницы, мэкакэ: институт мэкакэ жив до сих пор, ряд министерских и парламентских деятелей имеют мэкакэ.

Но у мужчины есть потребность в прекрасном, в вечной жественности, в общении с умной женщиной, с другом-женщиной, товарищем-женщиной, советником, поучителем: тогда он идет к гейше. Института, аналогичного институту гейш, нет в западной культуре. Там, в чайном домике, мужчину встретят прекрасные женщины, они поклонятся ему так, как требует этого большое искусство, они проведут с ним чайную церемонию, они будут с ним весело, беззаботно, остроумно и умно беседовать, — они споют ему старинную песенку, протанцуют тихий и прекрасный танец, они сыграют ему на сямисэне и кото. На пороге чайного домика насыпана



горка белой соли, — символ чистоты и целомудрия. Веселые, улыбающиеся, нежные, они нальют и вновь подольют мужчине сакэ, — всяческой грацией уклонившись от своей чашечки. Однажды, узнав, что я человек умственного труда, гейша сделала мне головной массаж: она положила мою голову к себе на колени, мяла и гладила мою голову белыми своими ручками, — и я встал с ее колен помолодевшим. Однажды (ведь японцы всегда и везде фотографируют) в компании японских писателей мы снялись с гейшами. Я положил свою руку на плечо гейше. И наутро я увидел себя в газете — именно так, с рукою на плече женщины. Я было взволновался: — и успокоился, — ибо сняться в такой позе с гейшей — честь, никак не «потеря лица». Гейша дает свою визитную карточку, имена гейш так же чтимы, как имена писателей, — и есть гейши со всеяпонскими именами.

Я прихожу в чайный домик с женою. Там, за домиком, тишина и ночь. Здесь тихо и светло. Мы снимаем свою обувь. Друзья-писатели заказывают ужин, приносят горячее сакэ. Приходят гейши, эти женщины, похожие на цветы. Одна из гейш садится около меня, наливает мне сакэ. Ну, как, как могу говорить я, чужеземец! — я рассматриваю ее руку, она смеется в смущении, прикладывает кулачок к виску, топорщит указательный палец и говорит плутовато, чуть-чуть недоуменно: — «Оку-сан Бируняку-сан», — и усердно топорщит свой пальчик: это значит, что в мою жену вселится злой дух, непонятный гейше, живущий только у европейцев, — дух ревности...

Гейша — это идеальная женщина, женщина мира искусств и красоты и ума, — к гейшам надо идти, чтобы касаться прекрасного. Не менее прекрасны тайны пола, — но это уже не гейши: тогда, после



гейш, надо ехать к ойран. И было: — мы были у гейш, с нами была моя жена, мы очень веселились; — мы пели вместе с гейшами, писатели плясали старинные танцы самураев и читали старинные баллады, — и тогда сказали мне, чтоб в следующий раз я не брал жену, ибо такой прекрасный вечер преступно не кончить ойран, старые писатели недовольны.

Быть гейшей — это призвание, и это — на всю жизнь. Быть гейшей — честь, и для того, чтобы быть гейшей, надо учиться с малых лет. Гейша должна иметь не ниже среднего общее образование.

Я был в школе гейш, в такой школе, куда европейцы вообще не проникают. Это было на берегу моря, и море уходило в лиловую тьму. В доме были только гейши, только женщины, молодые, средних лет, старухи, — а на сцене и на дороге цветов были девочки, от пяти лет, — будущие гейши, они танцевали, пели, кланялись, разыгрывали пьеску, — и старшие смотрели на свою молодую армию. Кроме школьной учебы, гейши должны уметь петь, играть на шемисене, должны изучать чайную церемонию, изучать тайны вязания цветов со всеми их символами, — и должны постичь тайну искусства собеседовать.

Веснами, в дни цветения вишни, этого национального цветка Японии, символа весны и мужской доблести, гейши объезжают все города, знаменитейшие гейши, корпорациями в несколько сот человек, и в этих городах, в лучших театрах ломаются двери от тех, кто хочет посмотреть на действо гейш. О гейшах пишут в газетах. Их имена славны. Великие, знаменитейшие гейши влияют на государственную политику. На интимные банкеты государственных деятелей — приглашается не жена, а любимая гейша того, в честь кого дается банкет. Гей-ша — точный перевод: — посвященный искусству.



Многие гейши выходят в замужество, например, государственный деятель эпохи Мэйдзи, принц Ито, был женат на гейше. Иные, кроме патента на гейшество, берут патент на ойран, — тогда до конца дней они остаются в почетной свободной любви, эти единственные свободные женщины, — и в этой свободной любви остаются, главным образом, талантливые гейши, как и у нас — талантливые актрисы. Институт гейш — очень древен, — и слово гэй-ся — новое слово, ибо оно существует только с токугавской эпохи, ибо раньше гейши назывались сирабьоси, что значит — белый, чистый тон...

... Это выдумка европейцев, что в японском языке нет слова любовь: есть, в десятке вариантов. И выдумка европейцев, дальше порта не забиравшихся, — нелепица о срочных японских браках: японцы о таких не знают.

Но совершенно не выдумка, что японский народ не стыдится обнаженного тела и естественных отпращиваний человеческого организма <sup>1</sup>. В Икахо, у сернистых источников, я сидел в бассейне с минеральной водой, — пришли две японки, разделись, омылись и полезли ко мне; однажды я услышал женский писк, присущий только европейкам, — я пошел расследовать и установил, что к Ольге Сергеевне в ванну собирались лезть мужчины-японцы. У японцев нет понятия мыть лицо и руки так, как это делаем мы: они каждодневно по несколько раз обмываются с головы до ног, поэтому в каждом доме есть ванна, воду в ванну они наливают такой горячности, что я, например, в такой воде сварился бы, — а, поскольку у японцев все наоборот, вытираются они не сухим полотенцем, а мокрым, тем самым, которым они подпоясываются, оно же служит им и мочалкой.

---

<sup>1</sup> См. глоссу VII.



В городах, где никак не уберешься от озорства европейцев, сейчас общественные бани разделены, женщины моются отдельно, но банщики в женских отделениях — мужчины. Уборные в Японии — общие, и помню, как фраппированы были Ольга Сергеевна и миссис Гиршбейн, жена американо-еврейского писателя Перетца Гиршбейна, когда в Кобуки-дза театре заместитель Осанаи-сана по Цукидзи театру, Такахаси-сан, приведши их к уборной, со всею вежливостью французского языка предложил им проследовать туда, — «силь-ву-плэ!» — они прошли сквозь строй мужчин к кабинам, — и через минуту Такахаси-сан постучал им, сообщив, что джентльмэны (то-есть мы) отправляются в ресторан.

До сих пор еще невесту жениху приискивают родители, всяческую беря на себя ответственность. Еще так недавно, во времена Токугава, тот нож, который родители давали невесте, был неминуемым порогом из дома мужа, — времена проходят. Вдова называется — умерший человек. Теперь в самурайских и цеховых семьях — этот же нож является порогом и для девушки, раньше воли отца отдавшей другому свое целомудрие. — Но за городом, в деревнях, до сих пор сохранился праздник пришествия покойников с того мира, Бон, июльский праздник созревания ячменя. К ночи тогда зажигают на дворах фонарики, чтобы осветить дорогу покойникам. Люди же в поле пляшут в хороводах, в муги-ко-каси, в хороводе «падения ячменя». И эта ночь свободна для совокуплений сельчан, — и если в эту ночь у девушки нет любовника, родители нанимают его, чтобы их дочь не была опозорена нелюбовью, — чтобы дочь их была благословлена любовью. И до сих пор, — утверждает профессор Е. Г. Спальвин, — сохранился в деревнях обычай общего обладания девушкой до



брака, когда только после брака она переходит в единоличное обладание мужу,—при чем она за это платит обществу «первой ночью», в честь богини Канпон, богини милосердия.—Философия пола у всех народов упирается в метафизику,—и никогда не забуду я фарфоровой тишины рассвета в деревне, на Синсю. В этот фарфоровый рассвет, без шпика, один-одинешенек, должно-быть, единственный раз так, в кимоно, я вышел со двора крестьянского дома и пошел в горы. Я писал уже об этом:—там, на горе, я увидел храм, в стороне от храма сидел мальчик,—а в чаще деревьев около храма стояла на коленях женщина, женщина обнимала клиноподобное каменное изваяние, лицо ее было восторженно. Я увидел таинственнейшее, такое, что редко удастся увидеть даже японцам,—я видел, как женщина поклонялась фаллосу,—видел таинственнейшее, что есть в природе человека. Мое видение мне разъяснил профессор Йонэкава-сан <sup>1</sup>, ибо эти видения у него сохранились от детства, от тех дней, когда мать водила его по храмам его клана, когда мать оставляла его одного, чтобы уединиться для молитвы перед богом чадородия.

Тогда, в тот рассвет, я смотрел на эту женщину, одетую в кимоно, перепоясанную оби, с рудиментами крылышек бабочки на спине, обутую в деревянные скамеечки,—и тогда мне стало ясно, что тысячелетия мира мужской культуры совершенно первоспитали женщину, не только психологически и в быте, но даже антропологически: даже антропологически тип японской женщины весь в мягкости, в покорности, в красивости,—в медленных движениях и застенчивости,—этот тип женщины, похожей на мотылек красками, на кролика движениями. — Даже жены про-

---

<sup>1</sup> См. глоссу VIII.



фессоров, европейски образованных людей, встречали меня на коленях.—Онна дайгаку—великое поучение для женщин—японский домострой—учит навсегда подчиняться отцу, мужу, сыну,—никогда не ревновать, никогда не перечить, никогда не упрекать. И в каждой лавочке продаются три обезьяны, символ женской добродетели: обезьяна, заткнувшая уши; обезьяна, закрывшая глаза; обезьяна, зажавшая рот. Так решили философию пола—буддизм, феодализм, восток,—и эта философия пола жива до сих пор.

---

## 6. ВЕЧЕР НА ХИНОКИ-ТЬО

Январь—месяц тигра, февраль—месяц зайца, март—дракон, апрель—змея, май—лошадь (к слову о лошадях я проделал своего рода анкету,—спрашивал, кто и сколько раз ездил на лошадях: писатели Канэда-сан и Сигемори-сан ни разу в жизни не ездили на лошадях, никак,—лошадей в Японии почти нет и почти нет в сельском хозяйстве), июнь—овца, июль—обезьяна, август—петух, сентябрь—собака, октябрь—кабан, ноябрь—крыса, декабрь—бык. Двенадцатилетия годов разделяются так же; 1926 год—год тигра. 1926—по-европейски: 2586—по-японски, 15-ый год эпохи Тайсьо. Вспомогательными определениями годов являются также стихии огня, земли, воды, металла, дерева. И вот, если женщина родилась в год лошади и огня, она непременно убьет своего мужа той таинственной фатальностью, которая родила ее в это сочетание; в прошлом, 925-м, году выросли девушки этого призыва, и в газетах крупно обсуждалось, как с ними поступить, ибо жениться на них—охотников было мало. И целые литературы есть гороскопов, выясняющих удобства и неудобства браков: мужчина, родившийся под знаком огня, имеет огненный характер,—женщина, родив-



шаяся под знаком дерева, имеет деревянный характер, — тогда им надо пожениться, ибо из дерева рождается огонь; но вода — тушит огонь, — и тогда брак не может состояться... Все эти таинственные комбинации имеют под собою таинственное сочетание пассивных и активных сил.

... Сумерки, Хиноки-тьо, року-бантьо, Токио. Мы сидим вдвоем с проф. Йонэкава-сан, тем профессором, о котором я буду говорить дальше, европейски образованным человеком, и который, провожая однажды домой Ольгу Сергеевну, на ее предложение зайти посидеть, ответил: «наш великий учитель Конфуций не учил нас сидеть вдвоем с женщиной». —

— А философия японского народа? — спрашиваю я его.

— У японского народа не было своей большой философии, — отвечает профессор Йонэкава. — По мнению профессора истории философии Канэко, японский народ из всех философских учений берет практические сентенции. Профессор Канэко считает японской философией философию практицизма. Это один признак. Второй — философическое оправдание каждого индивидуума: стремиться к очищению и опрощению, — философия индивидуализма указывает подавлять страсти, утвердить золотую середину, — разительно в японском народе, по мнению профессора Канэко, отсутствие мистицизма. И еще отличительна у японцев, в национальной японской философии: — их умность, не рационализм, а — умность: японский народ умен, — эта особенность является одним из факторов, давших возможность принять Запад и пойти его путем вперед. Японцы больше годятся для научно-прикладной работы, чем для обобщающе-философской, но Канэко никак не считает честью японского народа отсутствие у него великой философии.



Вечер, Хиноки-тьо, — на стене висит плакат японской живописной выставки, шипит газовая плитка, за окном водянистая муть ночи.

— Синтоизм не имеет одного бога, но много, — ибо источником божественности является поклонение предкам, предки же накапливаются. В памяти японского народа очень много богов, которые только наполовину божественны, наполовину же человечески, человеческого происхождения. Высшее божественное существо — богиня солнца Аматэрасуомиками, она светила миру и шелководствовала. Но в божественность Аматэрасуомиками никто уже не верит. Забот о будущей жизни у японского народа — нет. Надо заботиться — только о настоящем, о живом, чтобы достойно прожить жизнь, быть достойным своих предков, — чтобы приготовить чистоту смерти. — Тысячу двести лет тому назад в Японию проникла буддийская религия. Высшие круги, императорский двор приняли эту религию, сохранив шинтоизм. Но буддизм — не религия, а наука веры. Переводов с китайского буддийских книг не делалось, народ знает о религии из уст священников. Нирвана — стремление к вечному равновесию и покою: — для достижения нирваны надо отказаться от физических прихотей, от самого себя, — через отрицание самого себя — слияние с вечным миром, с вечным духом: наука буддийской религии утверждает эфемерность бытия, непостоянность жизни и твердую каменность жизни.

(Вечер, Хиноки-тьо. — Но по мифологии синто все боги изображались очень страстными, так что один дух погнался за женою, умершей в страстный момент, прямо в загробную жизнь, — мифология шинта жива на-ряду с буддизмом. Европейско-христианская мораль учила о вечной активности впереди, мораль Востока учит о вечной пассивности).



— Буддизм трансформировался сейчас в ряд сект. Крупнейшая — Синсю («настоящая вера»). Родоначальник этой секты учил, что человеческий ум ограничен и не может довести до нирваны, — и надо возлагать надежды на волю Будды, в молитвах — «Наму, Амидабуцу», — одному из предвещаний Будды. Секта Дзэн избрала путь строгого воплощения, что достигается сидением по-турецки, сосредоточением мыслей до того, пока не останется ни одной мысли; люди секты Дзэн — постятся, аскетят; секта логику буддизма заменяет интуицией; эта секта была популярна среди самураев.

(Вечер, Хиноки-Тьо, окончательно померк закат).

— Но, все же, подлинная, народная вера, о которой почти не знают европейцы, ныне здравствующая, идет мимо синто и буддизма, — Ин-йо-до, — учение о пассивной и активной силах. Она связана с синто, она созвучит с китайскими учениями о извечном пассивном и активном. На глаз европейца эта вера состоит из суеверий. Все явления мира этою верой делятся на двоесилия мрака и света, луны и солнца, земли и неба, мужчины и женщины... Метафизика этого учения глубоко вошла в быт. Секта Татикаварю, названная так по имени учителя, запрещенная в эпоху Мэйдзи, здравствующая до сих пор, утверждает, что соединение начал бога Идзанаги и богини Идзанами, активного и пассивного начал (бог Идзанаги, стремясь за Идзанами, семенем своим накапал Японские острова, так говорит предание), — соединение активного и пассивного начал есть высшее достижение нирваны, и путь к ней — путем совокуплений.

... вечер, Хиноки-тьо. Мы прощаемся с Йонэкава-сан, я провожаю его до порога. Над городом лиловое небо ночных фонарей, неподалеку прошли трубачи, разрекламливающие кинематограф, пропела



флейта бэнтошника, человека, играющего в рожок в знак того, что он повез по улицам свою тачку с рисом для бедняков и рабочих, с горячим рисом, который можно тут же купить. И улица замерла в тишине, той тишине, которая есть только в Японии. В доме напротив мои «ину», собаки, мои полицейские, сидели около огня.

Я тихо свернул в переулок и пошел на соседнее кладбище, в его тишину, заброшенность и в печаль кладбищенских размышлений. Японцы сжигают трупы умерших и хоронят только золу, так велит буддизм. У ворот отгорел электрический фонарь, там под деревьями мрак. Знаю, вот против этой могилы стоит мисочка риса и на нее положены «хаси», палочки, которыми едят японцы: это для умершего. Знаю, что умершему японцу дается новое имя, то, с которым он отходит в вечность, с которым не жил при жизни. Знаю, что к летосчислению жизни каждого японца надо прибавить девять месяцев, ибо днем начала существования человека у японцев считается не день рождения, а день зачатия. И знаю, вон там, за той тропинкой похоронена собака: любимых собак, кошек, лошадей — японцы хоронят вместе с человеком, так же сжигая (и даже человеческие чины дают животных, ибо те быки, которые возят повозку императора, имеют генеральские чины, — иначе они не могут быть при дворе). Я иду по тишине тропинок. И я — ничего не понимаю. Я — европеец, знающий, что маршал Ноги и император Муцухито, умершие столь недавно, уже обожествлены, и в честь их есть храмы, — что человек здесь уравнен с собакою, — что у религии этого народа нет активного будущего, а есть пассивное ничто, то-есть нет верования в будущую жизнь, а есть вот такие храмики, такой величины, как моя пишущая машинка, — я, европеец, ничего не понимаю. Мне мои друзья-



японцы говорят о том, что религия отмирает, что остались только обычаи, традиции. Мои друзья-европейцы, поражаясь религиозным индифферентизмом японского народа, утверждают, что религия японского народа умерла, или ее никогда и не было — в том плане понятий, как это понимается у нас, — Япония — безрелигиозная нация, нация, у которой умерла религия, но в умирании своем унесшая и живую философическую жизнь японского народа, философически создавшая такое положение, такую страну, где правят мертвецы. И тут, в этом месте, европейцы-идеалисты горячо утверждают, что весь Запад, вся западная культура, окончательно ненужная Японии, враждебная ей, чуждая, — взята японским народом, как маска, — японский народ замаскировался на столетье, чтобы броней Запада — этот же Запад откинуть: поэтому, дескать, так болит голова от японской воли, конденсированной в шум гэта, поэтому так ничто непонятно, ничего не прочтешь на лице японца. Я в этих рассуждениях — ничего не понимаю, — но в дебри их я пришел сейчас к тому, чтобы указать ту щель, в которой почерпают европейские писатели материалы для писаний повестей о «метафизической Японии»... В Асакуса, у храма Каннон, всегда много молящихся, и в проходе храма сидят священнослужители: молящиеся кидают монету и бьют в гонг, чтобы бог услышал их молитву; гадалки дают такие листочки бумаги, — эти листочки надо привесить к сучьям деревьев около храма, тогда исполнится пророчество. В Уэно парке стоит памятник генералу Сайго, — так этот памятник нельзя разглядеть: генерал Сайго также обожествлен и он весь заплеван священными бумажками, — потому что надо написать желание, разжевать бумажку и бросить ее в священный предмет; памятник типичной европейской стройки, поставленный человеку,



противившемуся проникновению европейцев в Японию, — оказался священным предметом. Бог Лисы — богу Лисы можно молиться, чтобы отнять у друга его, другов, богатства: над Кобэ, в горах, куда надо сначала ехать на автомобиле, затем подниматься на элеваторе и дальше идти бесконечными тропами и лестницами, на Майю-сан, на вершине горы, — там есть храм, посвященный богу лисицы<sup>1</sup>: на обрыве скалы, высоко над океаном, среди многовековых сосен, возник целый городок, в тишине гудит буддийский колокол, — и чем дальше в гору, тем пустынное и тише, — и там стоят алтарики, заполненные лисами, фарфоровые, фабричнейшего производства, по качеству выработки хуже наших десятикопеечных кукольных голов, которые продаются на ярмарках для крестьянских детишек; и вечером в Кобэ на базаре я купил себе за иену десять таких лис: там, на Майю-сан, — извечная тишина, прекрасное спокойствие и — прекрасная красота горного хребта, гор, долин, океана. Все это увязать так, чтобы концы вошли в концы, — я не могу... Я иду по кладбищу, подсел к могиле лошади, мне перевели — «любимой лошади»: и тогда, я помню, я думал о том, что бытие определяет сознание, совершенно верно, но и сознание веков переходит уже в бытие.

## 7. О ИЕРОГЛИФАХ<sup>2</sup>

Мое имя — Пильняк — по-японски звучит: — Пириняку, потому что в японском языке нет звука л и потому-что фонетика японского языка не любит двух согласных рядом и окончаний слов на согласные. Но японец не скажет —

<sup>1</sup> См. глоссу IX.

<sup>2</sup> См. глоссу X.



— Пириняку, —

его вежливость и его понятие о человеческих отношениях укажут ему сказать:

— Пириняку-сан.

Эта же частица сан, приставляемая к каждому человеческому имени обязательно, а к другим, по нашим понятиям неодушевленным предметам, в случаях исключительных, — и эта частица никак не есть нечто соответствующее нашему гражданину или английскому мистеру: частица сан указывает, что собеседник, беседуя с вами, обращается не к вам, а к вашей тени, к вашему второму духу, не желая обеспокоить вашей субстанции, дабы дух ваш почил по вашей воле, никак не омраченный собеседником.

Пириняку — написанный иероглифами, подобранными фонетически, значит:

— сравнение пользы две ночи придут.

Борис — написанный иероглифами, подобранными фонетически, значит:

— закатной деревни гнездо.

О иероглифах: — тем паче, что многое надо оставить на совести тех, которые утверждают, будто японцы и китайцы мыслят кроме европейских способов мыслить образами, словами и понятиями, — мыслят и иероглифами. Иероглиф Японии — точнее Ниппон — Страны Восходящего Солнца: — к о р е н ь с о л н ц а.

Иероглифическая письменность совершенно не варварственна, как многие думают. Дело в том, что, если бы я, не знающий китайского, японского и испанского языков, и мексиканец, не знающий японского, китайского и русского языков, — если бы мы изучили иероглифическую грамоту, — мы бы, без знания языков, сумели бы списаться и понять друг друга: я, китаец, японец и мексиканец. Иероглифы не записывают звуки, но записывают понятия (понятия



же у всех народов, примерно, одни и те же: стол есть стол, как его ни назови). В японском словаре — пятьдесят тысяч иероглифов. Курс средней школы — четыре тысячи двести. Курс начальной школы — тысяча восемьсот. В газетах — две тысячи пятьсот иероглифов. Изобразительных иероглифов — около трехсот. Квадрат, пересеченный горизонтальной чертой, — солнце; русское печатное И, пересеченное двумя горизонталями, — луна; иероглиф луны, поставленный рядом с иероглифом солнца, — яркий, светлый. Кривая палочка, подпертая другой маленькой кривой, — иероглиф человека. Две палочки под прямым углом, пересеченные округлой (рука, нога, грудь), — иероглиф женщины; два иероглифа женщины рядом — ссора; три иероглифа женщины рядом — государственная измена. Иероглиф тюрьмы изображается так: иероглиф слова, по бокам иероглифы собаки. Японцы взяли иероглифическую письменность от китайцев и употребляют ее и фонетически; все фонетические иероглифы — комбинированные: фонетический иероглиф барана звучит так же, как океан, — поэтому пишут иероглиф барана и приписывают сбоку иероглиф воды.

Кое-какие мои выписки звучат весело. Но уже не весело, а великолепно знать, что человеческим гением, гением Востока, создана такая изумительная грамота, знание которой, при знании ее другими народами, дает возможность обращаться с этими народами без знания языков, а при знании языков в эту же грамоту можно влить и живое слово. И, если бы пушки были изобретены не европейцами, а на Востоке, я уверен, что мы изучали бы сейчас эту иероглифическую грамоту, уничтожающую смешение языков, вместо того, чтобы корпеть над английским, немецким, французским.

Утверждают, что люди Востока мыслят, кроме наших способов мыслить, еще иероглифами. Не знаю.



Если это так, то это только лишний плюс их мыслительного аппарата. Но знаю, что, чем культурнее японец, тем больше он прочтет в иероглифе, тем больше для него раскроет иероглиф. И знаю, что на Востоке есть вид искусства, непонятный нам, когда поэт или философ, или ученый создает такой новый комбинированный иероглиф, над которым можно часами сидеть в благородном изумлении, как над шахматным ходом, следить за каждой линией, написанной тушью и кисточкой, вдыхать запах карака-тицы (из которых добывается тушь) и открывать смысл человеческого гения в этих линиях и чертах. Я всегда приветствую каждый закоулок человеческого мозга.

В Токио я был в храме императора Мэйдзи (того императора, который вывел Японию из феодализма, дал японскую конституцию, разбил в 1904 году нас и умер в 1912 году, обожествившись после смерти), — в храме императора Мэйдзи хранится его кабинет и его письменные принадлежности. Так эти письменные принадлежности совершенно таковы же, как в кабинете профессора и философа и друга России Йонекава-сан. Я рассматривал эти же письменные принадлежности на почте, на станциях, в сельских трактирах и в столичных отелях. Везде они одинаковы: лакированная коробка величиною в двухфунтовую шоколадную, в которой лежат — палочка туши, камень, на котором растирается тушь, сосудик, в котором хранится вода, и штук пять разных сортов кисточек. Сидя на полу и пододвинув к себе столик высотой в нашу ножную скамеечку, держа на весу руку, японцы пишут своими кисточками свои иероглифы. Понятия чистописания и рисования у них сливаются. Молодой писатель, Сигэмори-сан, с которым я путешествовал по Синсю, каждое утро и каждый вечер посылал домой открытки: он писал их лежа: я спросил, как он пишет свои романы, — он



ответил мне, что он всегда пишет лежа. В Японии всеобщая грамотность, там, кроме идиотов, грамотны все сто процентов. При первой встрече все дают визитные карточки, при второй надо поменяться автографами, изречениями, вежливым словом, написанными на бумаге. Я писал десятки изречений и на карточках для танки, и на квадратных карточках, предназначенных для изречений, и даже на какэмоно. Однажды в поезде, по пути из Токио в Кобэ, ко мне подошел с такою карточкой проводник вагона, поклонился так, как кланяются японцы, руки на колени, в шипении, и попросил от меня, русского писателя, моего изречения и автографа моего имени. Когда где-нибудь в провинции открывается выставка, или у какого-нибудь озера, куда зимой никто не заходит, — собираются паломники природы, — тогда сейчас же там открывается почтовое отделение, закрывающееся вместе с выставкой и на дождливые дни... и всегда около почтовых отделений и на углах больших городов сидят такие люди, которые умеют красиво писать и красиво выражаться: эти люди, за сэнны, пишут красивые иероглифы и очень вежливые слова... А в поезде по Сибири туда из Москвы со мною ехал японский концессионер; он научил меня первым японским словам, тому, что благодарить надо так:

— Домо-аригато-годза-имасу,—

при чем слово аригато значит—спасибо, а «домо», «годза-имасу» — ничего не значат, просто вежливые приставки. Можно сказать — аригато; можно сказать — домо-аригато, — это будет повежливее: — домо-аригато-годза-имасу — совершенно вежливо. Так вот этот концессионер от времени до времени склонялся над бумагой. Я добивался, что он пишет. Он скромно сообщил мне, что он пишет танки. Я попросил его перевести мне его танка. Одну танка я запомнил.



Вот она :

Мы перевалили Урал.  
Мы в Азии.  
Земля в снегу.  
На станциях русские  
бегают с жестяными чайниками.

---

## 8. СДЕЛАННЫЕ ЛЮДИ

Япония — нищая страна, страна нищего камня, шалашей вместо жилищ, бобовых лепешек вместо хлеба, тряпок вместо одежды, деревяжек вместо обуви.

... Я смотрю направо и налево. Но я вижу — удивительнейшее, до сих пор неизвестное мною. Я вижу, как японский народ освободился от вещей, освободился от зависимости перед вещью. Народ отказался от всяких излишеств, от всяческих случайностей. Народ создал свою архитектуру, которая определена бытом неостывшей земли, ибо японский домик строится в два дня, в японском домике нет ни одной лишней вещи. Народ свел свои потребности к такому минимуму, от которого европейцы должныдохнуть. Народ питается, в сущности, не рисом, а бобовыми лепешками, съедая такое количество, от которого европейец протянул бы ноги. Японец, в колоссальном чувстве патриотизма, не имеет привязанности к данному клочку земли, — он в два дня собирается, чтобы перейти на новые земли, — хибати для него везде найдется, а весь свой скарб он снесет на плечах. Хибати сохранился от тысячелетий, — а оби, тот пояс, который красивою бабочкой висит на спинах женщин, есть рудимент постелей, которые женщины носили у себя на спинах (ойран носили постели на



спинах еще в семидесятих годах прошлого века, — матери до сих пор носят детей на спинах, работая с ними, с детьми за плечами, в полях). Надо большие главы писать о том, что живая Япония — есть страна мертвецов, ибо единственный философский завет японцев — это прожить жизнь так, чтобы не опозорить предков, чтобы быть достойным предков, — единственный завет синто — религии этого безрелигиозного народа, — да, безрелигиозного, — да, такой завет, который кладет глубочайшую рознь между психикой европейца и человека с Востока. Японский народ, даже в свою безрелигиозную религию, внес правило, что всегда, какие бы ни были обстоятельства, пусть даже нации, всей нации на большие десятилетия надо отказаться от куска хлеба, он, народ, должен найти правильный путь, пусть кривой, но всегда такой, который приведет к назначенной цели, — пусть японцам семьдесят лет тому назад пришлось ласково улыбаться, в отчаянной ненависти, европейцам, — они перехитрили европейцев, этот единственный на Земном Шаре цветной народ. Японский народ освободился от боязни индивидуальной смерти; народ ввел в доблесть харакири; на площадях землетрясений народ умирал организованно; я видел, как пожарные лезли на горящую стену, чтобы свалить ее, — было совершенно ясно, что они погибнут под горящими обвалинами, которые собою они хотят повалить, они были совершенно деловиты, они погибли, свалившись вместе со стеной, — толпа приняла это, как должное. Народ создал такой язык, на котором нет слов брани. Народ создал такую манеру обихода, которая обязывает к вежливости. Японская мораль не позволяет женщинам кричать во время родов, и они не кричат, а когда во время родов кричала жена одного из наших, русских, дипломатических работников, об этом писалось



в газетах. Вы никогда ничего не узнаете от японца по выражению его лица, — выражение лица японца создано, а не возникло, — так же создано, как освобождение от боязни индивидуальной смерти. Каждый раз, когда я говорил с японцами, даже с моими друзьями, японскими профессорами и писателями, даже в часы отдыха и прогулок, у меня разбалчивалась голова: около лейденовской банки все предметы пронизываются электрической энергией, — так же, должно-быть, нагнетала меня нервная, мне непонятная и несвойственная, психическая напряженность моих собеседников: это были странные головные боли, точно я проиграл под-ряд десять шахматных партий. Политика — не моя область, тем паче международная японская, — но в дни моего пребывания в Японии там, в парламенте, обсуждались меры, гласно и в деловитом спокойствии, о поднятии качества промышленной продукции за счет понижения заработной платы и за счет разорения крестьянства: что же, крестьяне будут организованно помирать.

... Японцы низкорослы, смуглолицы, черны, крепко скроены, — психическая организация японцев действует на европейца чрезвычайно утомительно, — японцы не любят, когда европейцы говорят на их языке, — и европейцы, проживая иногда по несколько лет в Японии, не научиваются различать индивидуальных черт японского лица, все лица кажутся им на одно лицо, индивидуальность стирается, она стирается и манерою японцев ничего не выражать лицом; у японцев есть манера вежливости шипеть при разговоре, кланяясь и при еде, шипеть, втягивать в себя воздух, как делают европейцы, обжигаясь; и вот мистеру англичанину начинает казаться, когда он сидит за обеденным столом или беседует с японцами, когда для него стерта индивидуальность япон-



цев и они шипят, как растревоженный муравейник; эти маленькие люди конденсированной воли и непонятного языка, — европейцу начинает совершенно ясно казаться, что перед ним не люди, а людоподобные — сделанные — муравьи...

За последние сорок лет нация японцев увеличилась в росте на два вершка: это сделано волей японского народа, это сделано. У японцев есть понятие — сибуй — трудно перевести — оскромный вкус: отказ от вещи, доблесть простоты, доведенной до оскромности. Сибуй упирается в Бусидо (путь чести самураев), — в ту самурайскую честь, которая указывала не иметь денег, быть преданным и доблестным, не бояться смерти и не иметь потребностей. В главке о «принципах „наоборот“» я писал о Синоби — о науке сыска. — Не суть важны все эти науки, Сибуй, Бусидо и Синоби: важно продумать психику народа, имеющего такие заповеди, — сделанная психика японцев никак не похожа на психику европейцев.

И еще о «сделанности» японского народа. Надо быть очень хорошим врачом, чтобы сказать, чей антропологический тип — японца или европейца — более совершенен, — но без качеств врача можно утверждать, что тип японца более «сделан», чем тип европейца, более отстоен: и в Англии, и во Франции, и в Германии, и в России есть и рыжие, и бело-волосые, и черноволосые, и сероволосые, всех цветов, — в Японии — все черноволосые, иноволосых — нет: эта особенность, по утверждению врачей, распространяется и на все другие антропологические особенности. Антропологический тип японца сделан, отлит.



## 9. ШУМ ГЭТА

В июле в Японии пойдут дожди, они будут идти неделями под-ряд, в страшной жаре, они не будут испаряться, все превратив в болото. Все будет покрываться плесенью, все будет истлевать в плесени и гнили. Обессиленные, обалдевшие в потной жаре люди в трамваях будут распахивать свои кимоно и будут обвеивать веерами голое свое тело, — солнце будет палить сквозь банные клубы пара, в плесени, в многонедельном удушьи, когда ни днем ни ночью нет человеку отдыха... А с ноября новые пойдут с океанов ветры, тайфуны, понесут холодную изморозь и туманы, «петербургскую» погоду, когда в японских шалашах за хибатами — сидеть занятие невеселое. Пусть на глаз туриста земля Японская очень красива...

. . . . .

У каждого народа есть свой шум.

Улицы Лондона чопорно шелестят, там не гудят даже рожки автомобилей, толпа движется с медленной скоростью грузов, тех, что над Сити передаются по крышам. В России, в годы революции, национальным шумом были грохоты пушек вдали, шопот в переулках и песнь идущих красноармейцев на площадях.

В Японии три шума. Тишина, безмолвие парков, — шум падающего водопада, шелестящего ручейка в деревне, — и — человеческий шум гэта. Шум каждой нации имеет свой смысл и отражает особенности нации.

Гэта — это деревянные сандалии, скамеечки, которые надевают японцы на ноги, выходя на улицу. В гэта японцы едут на велосипеде, в гэта детишки прыгают на одной ноге. Гэта прикреплены к ноге



двумя бечевами, продетыми между большим и остальными пальцами. Шум гэта тверд, как кость, как голый нерв, — шум гэта страшен на ухо европейца, когда они скрипят пробкою по стеклу — деревом по асфальту. Шум каждой нации имеет свой смысл: человеческий шум Японии — это костяной шум гэта.

Автомобилем мы мчим по Токио, в Уэно парк. Автомобиль идет по улицам, залитым солнцем, цветами, пестрыми кимоно женщин, шумом трамвайных, автобусных, автомобильных рожков, простором площадей перед императорским замком, гамом американских небоскребов Гинзы и Нихон-басси, окончательной теснотой национальных кварталов. И всюду главенствующий шум — шум гэта. Но вот мы в Уэно парке (так же, как в Хибия парке, как и Сиба парке): здесь в тени деревьев затаились национальный музей, храмы, чайные домики, здесь под обрывом зарастает священными лотосами озеро, и на острове среди озера — синтоистский храм. И здесь — в этот солнечный весенний день — затаилась тишина, пустая тишина, вроде той, что у нас бывает в бабье лето.

. . . . .  
Мы едем к озеру Хаконэ. Поезда подходят к перрону каждую минуту, разменивают людей и мчат дальше. Поезд мчит мимо Йокогамы, по берегу моря, под горами, под горы. Так мы едем до японобиблейской Одавары. Там мы берем автомобиль. И автомобиль несет нас в горы. О радостях красот японской природы — не мне говорить. Мы едем древнейшей дорогой самураев, путем из Киото в Эдо (нынешнее Токио), обросшим преданиями тысячелетий. Автомобиль лезет в горы, около обвалов, над обвалами, под обвалами — древним путем, соединяющим Восточную и Западную Японию. Там внизу обрывается со скал река. Направо, налево с гор свисли трубы, зажавшие воду для того, чтобы



ее энергия превращалась в белый уголь. Через обрывы перекидываются висячие мосты, по ним в горы уходят электрические поезда. Сначала идут леса бамбуков, затем платанов, японской сосны, лиственниц, кедров, просто сосны, — дальше идет ель — и еще дальше — каменные, остуженные, голые громады. Оттуда, с этих громад, можно шутить о том, что там за океаном видна — Америка. И здесь наверху лежит снег, водопады выложили свои логовища льдом, холодом. Электрическая дорога повисла внизу висячим мостом, уперлась в скалу и ушла под камень, в тоннель, — нигде нет такого количества тоннелей, как в Японии.

И тогда нам открылось озеро несравненной красоты, с водами синими, как небо в грозу, пустынными и прозрачными, как наш сентябрь, — и в озере опрокинулся Фудзи-сан, раздвоившийся, ставший над горами и опрокинувшийся в ледяных водах озера. Фудзи-сан — священная гора — покойствовал, величествовал над окружающими горами и над нами, в белом своем плаще снегов. Японцы кланяются духу Фудзи, как кланяются стихиям природы, неподвижному в природе, абсолютному в нашей быстротечности.

У озера, там, где путь самураев огибает озеро, стоят ворота, граница между Западной и Восточной Японией, тут рядом кладбище, эти таинственные японские могильные камни, — тут не так давно, только несколько десятков лет тому назад спрашивали прохожих, куда и зачем они идут мимо этой заставы.

Но мне говорить сейчас — не о самураях. Больше, чем Фудзи, я кланяюсь — другому. Мы мчали автомобилем в горах под, над и около обрывов, через пропасти, от жаркого весеннего утра до морозного зимнего дня, от бамбуков до елей и голых



скал. Тоннелями и цепными мостами мимо нас уходила дорота, местная дорога, построенная только к тому, чтобы связать горных жителей с долиной и чтобы вывозить с гор лес. Я смотрел кругом и — кланялся человеческому труду, нечеловечески человеческому... —

Вот что покоряло меня: я видел, что каждый камень, каждое дерево охолены, отроганы руками, от долин до отвесных обвалов. Леса на обрывах посажены — человеческими руками — точными шахматами, по ниточке. Это только столетний, громадный труд может так бороться с природой, бороться природу, чтобы охолить, перетрогать, перекопать все скалы и долины. Это только гений и огромный труд могут через пропасти перекинуть мосты и врыться тоннелями в земные недра на огромные десятки верст <sup>1</sup>. Это только гений и человеческий труд могут так зажать в трубы стихии воды, горные водопады, чтобы превратить их в белый — электрический — уголь.

И не только наслаждаясь природою и Фудзи, я видел труд японского народа. Все, куда ни кинь глазом, где ни прислушайся, все говорит об этом труде, об этом организованнейшем труде. Шесть седьмых земли Японского архипелага выкинуты из человеческого обихода горами, скалами, обрывами, камнем, — и только одна седьмая отдана природою человеку для того, чтобы он сажал рис. Еще так недавно Япония считалась страной сельскохозяйственной. И — вот как возделывается рис. Рис может расти только в воде. Все долины Японии разрезаны полями величиной в среднюю нашу комнату. Земля на этих полях выверена по ватерпасу, чтобы вода на ней стояла ровно, каждое

---

<sup>1</sup> См. глоссу XI.



такое поле по краям огорожено невысокою насыпью, чтобы не стекала вода. Земля должна быть очень удобренной, и ее удобряют рыбою, родственницей нашей селедки, той, которую мы едим соленой. И все поля, все эти комнато-величинные учреждения для проращивания риса, соединены между собою сложнейшей и требующей окончательной внимательности оросительной системой. Вся Япония долин выверена по ватерпасу — ох, сколь это сложнее, чем европейская триангуляционная — на бумаге — выверка земли! — триангуляционная, — предназначенная, главным образом, для выверки артиллерийской стрельбы.

. . . . .  
Пусть на глаз туриста земля японская очень красива, эта земля, которая еще не остыла от вулканов, та земля, которая человеческому труду отдала только одну седьмую часть себя. Вопреки этим сказкам о прекрасности японской природы, или в дополнение к ней (ибо, на самом деле, очень много приятного для глаза в японских пейзажах вулканов, бухт, гор, островов, озер, закатов, сосен, пагод), — я утверждаю, что природа Японии — ни щ а я природа, ж е с т о к а я природа, такая, которая дана человеку — на зло. И — тем с большим уважением следует относиться к народу, сумевшему обратить, воспеть и возделывать эти злые камни, землю вулканов, землю плесеней и дождей.

И первое, что видишь, когда приезжаешь в Японию, за всей ее экзотикой и красотью, за всеми ее поездами, миллионнотиражными газетами и прекрасными книгами, — видишь, что Япония — ни щ а я на глаз европейца страна, эта вулканическая держава, — потому-что японцы живут в шалашах, едят всяческие отбросы, одеваются в тряпки, ходят босые на деревяжках, — эта вулканическая держава организо-



ванного нищенства, нищенственнейшего экзистенс-минимума. И — тем с большим уважением я отношусь к японскому народу.

Берите статистику и экономические справочники. Известно, что национальные богатства государств создаются очень скучными рудами железа и цветных металлов, каменным углем, нефтью, каустикой. Япония не имеет ни своего железа, ни каустики, ни нефти, ее уголь не коксуется (Япония производит в год 209 т. тонн железа, — это составляет  $\frac{1}{2}\%$  того, что в тот же срок добывают С.-А. С. Ш.), — у Японии нет ничего, что обыкновенно, в стальной наш век, определяет национальную мощь государств, — и тем не менее Япония — великая держава.

Мистер Смит из Шанхая, американский гражданин, так говорил со мною о Японии:

— Так это же не страна, а чорт знает что такое! — говорит мистер Смит. — Ведь все они — жулики и невежды, хоть и все время улыбаются. И — каждый японец — идиот. Это — чорт знает что такое! — а как соберется пять японцев, с ними не столкнешься, переговоят.

— А — если десять? — спрашиваю я.

Мистер Смит молчит.

— Десять японцев вместе — обжулят кого угодно в мире, — говорит сердито мистер Смит. — Но вы смотрите! — восклицает мистер Смит. — Это же не страна, а чорт знает что такое, у них же ничего нет... — ведь это форменные нищие, — у них же все плесневеет, костюма нельзя хорошего привезти!

Япония — великая держава. Япония не имеет каустики и железа. И я вижу: — то место, которое в Англии занимает кардифский каменный уголь, в Японии заменяется национальными нервами, национальной волей. Национальные нервы и воля японского народа есть та необыкновеннейшая рента,



организованностью своей создающая национальные богатства и национальную мощь. Этого нет ни у одного народа. Я слушаю шум гэта, костяной шум их японской, деревянной обуви, — и этот шум гэта — есть для меня символ воли и нервов японского народа, нервов, сжавшихся до того, что они стали как дерево.

## 10. ШУМ ГЭТА И ВУЛКАНОВ

Я знаю: старые народы, имеющие многовековую культуру, многовековой быт, — неспособны к новаторству. У таких народов их быт, их обычаи, их мораль и материальная их культура, законсервированные веками, теряют гибкость, неспособны к новаторству, — и нации более молодые их побеждают именно благодаря своей молодости и гибкости, способной к новаторству. Так было с Египтом, Вавилоном, Грецией, Римом, Индией, Китаем. — Казалось бы, что так же должно было бы быть и с Японией, сверстницей Греции: и Япония нашла в себе силы стать молодой страной, — силы, указывающие, что у этой страны — очень много молодости.

Какие это силы? —

Я смотрю быт и обычаи японского народа, этику и эстетику. Быт и обычаи поистине крепки, как клыки мамонта, — тысячелетние быт и обычаи, из сознания перешедшие уже в бытие. Быт и обычаи, и то, что в Японии все грамотны, и то, как организована воля японского народа, — все говорит о качестве и древности японской культуры. И этот тысячелетний быт, создавший свою особливую мораль,



этику, эстетику, не оказался препятствием для западно-европейской конституции заводов, машин и пушек: какие это силы! —

Есть один малоизвестный закон развития человеческой культуры, — тот закон, по которому развитие духовной и матерьяльной культур не идут рука-об-руку, ибо матерьяльная всегда опережает духовную. Далеко ли от Платона и Аристотеля, величайших философов и мыслителей европейской древности, величайших оазов человеческого духа вообще во все эпохи, — далеко ли от них ушли Кант, Гегель, Толстой, величайшие мыслители наших дней, — и можно ли с этими нашими днями сопоставить век Платона, век ручного труда и войн кулаком и камнем — с нашим веком, с веком Толстого, веком заводов, металлургии, электричества, железных дорог, авиации, радио, дредноутов и стоверстных пушек? — Причины этому в особенностях развития человеческой индивидуальности. Например: — я ребенок, родился ничего не зная, мне десять лет, — мне показали автомобиль, — я ничего не знаю о том, сколько человеческого труда и гения было затрачено на создание этой машины, — но я в три дня научился управлять этой машиной, — то, что достигнуто матерьяльной культурой — культурой вещей — прежних веков, я принимаю, как норму, от которой надо идти дальше, и воспринимаю устройство автомобиля с таким же трудом, как устройство сохи. — И дальше: — я ребенок, я ничего не знаю, — и для того, чтобы достигнуть культурного уровня моих отцов, чтобы иметь право идти дальше в плане культуры духовной, я должен потратить тридцать лет, я должен долгие годы учить грамоту, математику, историю, — и Толстого я могу изучить не тем, что прочту о нем, а только тогда, когда я прочту его самого, — и — сколько бы Толстых я ни прочел, сколько бы научных дисциплин



я ни изучал, сколько бы ни проповедывали мне отцы, — я по-своему расшибу себе лоб, я по-своему люблю и возненавижу, по-своему определяю свое место под луной, создав свою философию моего места и моего назначения, — и я все должен накопить сначала — от дикаря, ничего не знающего, до Толстого и Платона, — ибо наследье предков, культура предков — биологическим путем передает культуру отцов — даже не промилями, но мельче.

И тогда, когда матерьяльная культура делает шаги по европейской сказке, сапогами-семиверстами, — культура духовная тянется черепахою. Разителен в этом отношении пример Америки: там колоссальная матерьяльная культура, но культура духовная там еще в пеленках, никак не стала на ноги. — Черепаха духовной культуры японского народа заползла далеко.

Пойдите, побродите по Европе, по Англии, Франции, Германии, Италии. Там трудно найти место, где бы история не заостенела развалинами замков, монастырей, соборов, разваленных дорог, кладбищами. Многие кладбища и храмы уже забыты, безыменны, давно мертвы, но они стоят, дают своими известняками. Про Европу, как про Англию, поистине можно сказать, что Европа, как Англия, вышед своею культурою из известняков Вестминстера, возвращается туда известняками и склерозами цивилизации. И над Англией, Францией, Германией, Италией в часы месс и вечереи отзванивают колокола похорон. — Матерьяльная культура Европы — грандиозна, доведена до предела, перешла уже из живых организмов на кладбища и в храмы, — в храмах и на кладбищах уже и заводы и фабрики, перестающие дышать, — Европа консервируется, теряя молодость, осклероживая фабриками, замками и монастырями: — это культура матерьяльная. — Духовная культура — уже



столетье известно, что западная, она, не выше восточной.

И вот — Япония, страна, живущая под вулканами, страна, отказавшаяся от вещи, страна маленьких домиков, маленьких деревянных храмов: матерьяльной культуры, так, как это понятие понимает экономика, а не гуманитарные науки, — матерьяльной культуры у японского народа не было. Ни одного Вестминстера и Собора Парижской Богоматери в Японии — нет. Теперешняя японская культура фабрик и заводов — не старше сорока лет, — а раньше заводов и фабрик в Японии — не было. У японского народа нет матерьяльной культуры потому, что весь японский быт упирается в землетрясения, это землетрясения освободили японский народ от зависимости перед вещью и убрали вещь: психология народа выкинула ее из своего обихода волею неостывшей еще от вулканической деятельности земли. Японская матерьяльная культура трансформировалась в японском народе в волю и в организованные нервы японского народа: и эта культура, духовная уже, культура волевого примата и организованных нервов, крепка, выверена и сильна, как крепкая древняя культура, — жизнеспособнейшая культура «разумности», умеющая бороться даже с невзгодами вулканов. — Япония — страна островная, в своей истории она знает такие эпохи, как Токугава, когда Япония на два слишком века запиралась от всех остальных народов мира: это дало Японии чрезвычайно высоко напряженный национальный инстинкт, — столь острый инстинкт, что, несмотря на множество партий и на рабочий вопрос, все же кажется иной раз, что все партии в Японии — только фракции единой огромной партии в семьдесят миллионов человек, которая называется — Япония.



И еще одна предпосылка. Есть естественный закон: всегда, когда строят завод, его строят по последнему слову техники, — и не всегда, когда есть уже старый завод, пусть отстающий от должного уровня техники, есть возможность его перестроить, ибо издержки на его перестройку не покроют тех преимуществ, которые даст новый завод перед старым, — то обстоятельство, которое поставило очень многие отрасли производства Европы на колени перед Америкой.

И теперь я перехожу к выводам.

Я поставил себе вопрос:

— Какие это силы японского народа дали ему возможность, единственному народу на Земном Шаре небелой расы, стать великой державой, стать в ряд великих держав? —

И я отвечаю коротко:

— Вулканы. —

У Японии не было своей матерьяльной культуры, — и была (и есть) старая, проверенная веками, духовная культура, — проверенная веками и вулканами, выправленная волей и нервами. Известняки и склероз матерьяльной культуры не связывали рук японского народа (так, например, как они связали руки Китаю). Островная психика была (и есть) подчеркнута - националистична, и она создала волю народа не бояться индивидуальной смерти. Мудрость старой духовной культуры и воля — наши силы противостоять европейцам. В те дни, когда пришла — пушками и товарами — Европа в Японию, в плане матерьяльной культуры Японии не от чего было отказываться, — а дешевый труд и тот принцип, что новый завод всегда строят по последнему слову техники, — дали право японцам бороться с европейцами — бороться и вытеснить. — И решающим фактором в этой борьбе, конечно, была старая культура воли



и нервов Японии, та культура, которая была рождена вулканами и которой не надо было перестраиваться на новый лад.

---

## 11. О ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМУЛЕ ШАРА

... Неминуем в природе и в жизни людей тот закон, что все должно уравниваться. Взбушуются воды океана бурей, утихнет буря, — и волны лягут, вода сравняется, — и — поелику Земной Шар есть шар, омываемый со всех сторон водами океана, — сравняется вода в шар. Вулканическая деятельность земли накидала на землю горы, — идут века, выветриваются горы, размываются водами, перекапываются человеком, заполняются долины лесами и песками, — и — пройдут века, еще десятки веков, и будет земля равна, как лысина почтенного англичанина. — Все на этом свете уравнивается и идеальная геометрическая форма — есть шар, у которого нет никаких углов. Психическая и бытовая геометрия — всегда была, есть и будет построена на началах геометрии евклидовой.

Поистине, Земной Шар переживает сейчас эпоху окончательного узаконения геометрической формы шара. Ибо — не только пароходами, купцами, миссионёрами, машинами и пушками, — но и знанием, знанием — окончательно избороден Земной Шар. Ибо заборы и «великие стены» национальных культур рушатся под железным шагом знания, уравниваясь в знании и в труде, расплескиваясь через эти заборы, не считаясь даже с антропологией европейца, негра или японца. И вот задача — посмотреть, как, какими силами Япония разрушает старые свои заборы и каким умением сама перебирается через заборы иностранствий...

. . . . .



Геометрическая форма шара — сердце японского народа в старом — ум в новом. — Пусть останется на совести тех, кто это утверждает, как хороший образ, утверждение, что японский народ надел на столетие маску. Армия, флот, фабрики, заводы, торговля — все это взято с Запада, и говорить о японских пушках, которых, к слову, я не видал, — это то же, что говорить о системах пушек английских, немецких, прочих. Медицину японцы целиком приняли европейскую, с немецкой фармацевтической записью, выкинув в ненужность жен-шени и лю-и. А заводы — к величайшей обиде мистера Смита! — японцы строили так: они выписывали из Германии и Англии машины и инженеров, инженеры ставили машины и руководили ими; с инженерами заключали договоры на три, пять лет; эти лета проходили, приходил срок договору, — и в день срока англичанину или немцу у ворот завода очень вежливо предлагали зайти в контору; в конторе, на полу, за традиционным чаем дирекция благодарила инженера, — ворота завода были закрыты для инженера навсегда: там на его месте стоял японец, тот самый, который в течение этих лет безмолвнейше исполнял все требования инженера и был у него на побегушках; инженер навсегда покидал Японию, чтобы всячески ее ругать.

---

## 12. ТЕАТР И ЖИВОПИСЬ — ЭЛЕМЕНТАМИ ФОРМУЛЫ ШАРА

Геометрическая формула шара складывается из ряда элементов, — а искусство всегда есть та «крыса», по которой моряки узнают, как тонет корабль: и в Японии, во всей Японии, существует только один европейский театр, Цукидзи театр Осанаи-сан<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См. глоссу XII.



Когда, вернувшись, уже в Москве, я показывал фотографии постановок Осанаи-сана Качалову и Лужскому, они, Лужский и Качалов, находили на этих фотографиях самих себя: потому что Осанаи-сан так ставил вещи Чехова и Горького, что взяты были не только декорации, но и мизансцены. Осанаи-сан переиграл почти все постановки Художественного театра, и в почтительнейшей рамке у него висит Станиславский. Осанаи-сан считает Художественный театр — лучшим в мире, — и работа Осанаи-сана в Японии равнозначна работе Мейерхольда в России: вот еще одно доказательство «наоборот», — ибо девяносто процентов театральной революции Мейерхольда — так же слепо, как Осанаи-саном, взято Мейерхольдом у восточного театра.

Театр Осанаи-сана — революционный в Японии театр, — а когда я пришел впервые на классический японский спектакль, я понял, что все это я видел у Мейерхольда: но об этом — потом.

Театр Осанаи-сана — единственный в Японии европейский театр, — и множество есть театров в Японии классической японской трагедии.

В Токио, на холме Кудан, при храме Ясукуни — я видел Но — те религиозные мистерии, которые суть прародители театрального действия, — а в Осака я был в кукольном театре, который также есть прародитель театра теперешнего.

На Но артисты играют в масках, — в кукольном театре играют куклы, величиною в человека, по сцене их двигают люди, — и до окончательнейших пределов доведена там условность театрального действия, когда зритель, отдавший в прихожей свои гэта, сидящий на полу, должен не видеть на сцене этих «никтошек», которые управляют куклами, и должен представлять, что это куклы говорят и поют голосом чревовещателя, сидящего в стороне с самисэном.



Но и кукольный театр окончательно поросли сединою: мне показывали на Но маски, которым пятьсот лет. Но вот в Эмбудзю, в Кабукидза, в Тэйкоку (Империял) театрах, в классических японских театрах — у каждого театра есть свой храм, храмик, где курится сандаловая смолка и где хранятся священные реликвии театра, — а артист Утаэмон Накамура, знаменитейший артист, играющий женщин, восьмидесятилетний старик, — есть тринадцатый в роде артистической династии Утаэмонов; — и при мне однажды в театре вышел на сцену старейший из династии артистов, с ним вышел молодой артист, молодой стал на колени, и старик оповестил, что старший в роде молодого умер, этот молодой берет имя умершего и будет честно нести его до конца своих дней; — а около сцены выставляется плакат, на котором написаны имена актеров и благодарность зрителям, посетившим театр.

И кто знает, что вращающаяся сцена и «дорога цветов» (дорога цветов, в элементарном зачатии, имеется в России только у Мейерхольда и ею пользовался Вахтангов в «Турандот»), — что вращающаяся сцена, дорога цветов и использование прожекторного света — взяты европейским театром — у восточного?! — при чем у нас на сцене только один вращающийся круг, а в японском театре — два <sup>1</sup>.

Женские роли в японском театре играют мужчины. Там, за кулисами, в уборных Утаэмон Накамура, Канъя Морита, Байко Оноэ, Косиро Мацумото, Содзюро Савамура, — у знаменитейших японских артистов, — перед уборной надо снять башмаки, надо поклониться артистам в землю, — там, в уборных, — аскетическая чистота, монастырская простота, подушка перед зеркалом, на подушке артист, сбоку

---

<sup>1</sup> См. глоссу XIII.



хибати, на столике письменные принадлежности (и Мацускэ Оноэ, 84-летний человек, который не мог мне при свидании подарить автографа, потому что у него дрожали руки, прислал мне потом — на память — иероглиф счастья, лучшую вещь, которую я вывез из Японии), — а с другой стороны от артиста стоит столик с гримом.

И вот законы грима: артисты гримируются так, что их грим похож на маски, грим остался от веков масок, и по гриму, по цвету лица, по тому, как подняты или опущены брови и углы рта, — зритель должен знать, какую роль — благородного человека или злодея, счастливого или несчастного, прочее — какую роль играет этот человек.

Пусть грим будет ступенью в мир театральных условностей, рожденных веками японского театра, — ибо, как грим, костюмы, декорации, свет, — все условно и, в этой условности, абсолютно строго учтено. И каждый жест актера, манера его поступи, его движения, его голос, — все — в своей условности — рергламентировано, — и — какая вдруг красота возникает в этой окончательной условности, где ничто не неучтено, где каждый жест, каждая интонация голоса, все выверено так, чтобы нести свои капли в копилку красоты, — и как трудно после японского театра первый раз видеть европейский, где актеры слезли с катурн и ходят, как им бог на душу положит, — во мраке. Во мраке — потому что такого количества света, какой есть в японском театре, в этой стране, первой по электрификации в мире, — нет ни в одном русском театре, ибо на сцену в Японии бросается столько света, что там можно кинематографировать.

Я пришел в театр в два часа дня и я уйду отсюда в десять вечера. Я погружаюсь в мир условностей, где восьмидесятилетний старик играет девушек, где пьесы даже современных авторов (Цубоути-сан — со-



временного японского Шекспира, как его там называют) берут сюжеты из токугавской эпохи бытия самураев, где абсолютная сентиментальность и красивость.

На сцену в сопровождении «никтошек» — дорогою цветов — идет артист: он идет так, как обыкновенные люди не ходят; по тому, что лицо его мелово-бело, я знаю, что это несчастный герой; по тому, что он в белых одеждах, я знаю, что он благородный, неправильно гибнущий герой. Он идет дорогою цветов минут пятнадцать — вечность в театральном действе. Все глаза устремлены на него. Но вправо от сцены на помосте сидят три музыканта, они играют на сямисэнах, и один из них, голосом, идущим из желудка, никак не естественным, рассказывает историю этого героя. Он кончит рассказывать к тому моменту, когда герой пройдет дорогу цветов и придет на сцену.

Никтошки, провожающие героя, одеты в черное, они в масках, — их надо не видеть, — надо не видеть, как они поправляют костюм на герое, как они из маленького чайника дают ему промочить горло, — как они, к тому моменту, когда герой приходит на сцену, перетаскивают декорации. Их — не надо видеть, но я слежу за ними, чтобы уловить фокусы того, как они меняют на сцене, на глазах у зрителей, города и замки на морские берега и горные трущобы, как их волей плывут сампаны и движется целый остров, декорации на котором построены во всех трех измерениях, как они переодевают на сцене артистов, — я слежу за ними, за этими черными людьми в масках; черными своими халатами эти люди должны были бы разрушать красоту света и красок, — и я не успеваю проследить за ними, — в этой самурайской пьесе, — действие которой идет за сценой, о действии которой узнается из рассказа сямисэнщика, а на сцене видны



только иллюстрации к этой длинной самурайской истории.

Злой даймио уничтожает весь род своего вассала, — это рассказывает сямисэнщик; но один из сыновей вассала тайно учится в народной школе, — и даймио посылает другого своего вассала убить этого мальчика; сямисэнщик рассказывает, что этот второй вассал поклялся убитому вассалу сохранить жизнь его сына; дорогою цветов идет вассал, посланный даймио на убийство: на сцене проходят — замок даймио, народная школа; сямисэнщик рассказывает, что в этой же школе учится и сын идущего убивать: на сцене, пока герой идет по дороге цветов, показано, как мать ласкает своего сына; все это кончается тем, что отец, чтобы сохранить, как он поклялся, жизнь сыну убитого вассала, вместо этого мальчика убивает своего сына; мать и отец тоскуют над головой сына, — всеми условными жестами и интонациями голоса отец передает страдание; сямисэнщик уже молчит, — и зрительный зал во мраке рыдает, и я чувствую, что и у меня в носу щекочет от этой наивной мелодрамы.

Или: сямисэнщик рассказывает, а артисты иллюстрируют, как в грозу, в молнии, княгиня-мать потеряла сына; прошли годы, мать, в тоске и обеднев, сошла с ума; она ходила всюду, разыскивая сына, нищая старуха, и всюду рассказывала, как в грозу умер ее ребенок; сын же ее совсем не умер, он попал в буддийский монастырь, там рос и учился и стал первосвященником города Нара; и там старуха мать и сын священник встретили друг друга, сын узнал мать, мать не узнала сына; — и опять в этот момент, когда сын и мать плакали друг около друга, — плакал и зрительный зал. На мой ум: только наивно, — на мой глаз: удивительно, прекрасно, потому что до Японии мне нигде не приходилось видеть такой про-



думаннейшей красоты, условности, доведенной до классики, рожденной Но, созданной династиями актеров, живущих с маленьким театральным храмиком.

. . . . .  
И вот для пропорции формулы шара: один европейский театр и десятки классических. Многие писатели, по моей анкете, никогда не ездили на лошадях, сразу с курума (рикша) пересев на автомобиль и электрическую дорогу. Приняв машинную Европу, нация японцев за последние семьдесят лет увеличилась в своем росте на два вершка, — нация, которая столетиями отсиживала ноги. И опять надо думать о «наобороте» и о шуме гэта. Если национальный шум Японии — шум гэта, то национальный запах Японии — запах каракатицы, ибо из каракатицы делается тушь, а каракатица — и свежая и сушеная — продается в изобилии, и на мой нос каракатицей пахнут сандаловые курения. Исида-сан, с которым я познакомился в Японии и который теперь живет в России, впервые сюда приехав, — на мой вопрос, как он привык к русским кушаньям, — ответил:

— Спасибо, я привык, только, извините, я никак не могу привыкнуть к сметане.

Сметанного понятия в Японии нет.

Ну, а мы должны были привыкать жить совершенно без хлеба, есть каракатицу, маринованную редьку, горькое варенье, сладкое соленье, ящериц, червей, ракушек, сырую рыбу, вяленую каракатицу, сливы в перце, десятки кушаний за обедом, в малюсеньких лакированных мисочках, есть двумя палочками, сидя на полу. И пищу, — искусство кухни, — тоже надо считать искусством.

Всякое искусство, — и искусство пищи, театра и живописи, — все это есть те монументы, которые возникают надстройками над бытием и, перешед в бытие, бытие утверждают. Мейерхольд — революционер за-



падного театра, — Осанаи-сан — революционер восточного театра. Мейерхольд — весь в зависимости от восточного театра, — Осанаи-сан — весь в зависимости от западного театра, от Московского Художественного. Японские классические картины в Императорском Музее, написанные сотни лет назад, — есть то, к чему сейчас стремятся революционнейшие художники Запада и России, в частности, — есть последнее слово западно-европейского мастерства. А на выставке Национального Живописного Общества, где были выставлены полотна тридцати слишком современных японских художников, — только у четырех-пяти — у Сахара, у Тамаки, у Такаяма, у Мураками — сохранилась старо-японская манера письма, — работы же остальных несут на себе следы голландцев, французов и даже англичан: достижения этих последних — есть тот канон, от которого на Западе теперь освобождаются — во имя классики японской живописи.

Но вот что существеннейшее: монументы возникают только тогда, когда фундаментом к монументам у нации есть материальные и духовные накопления. И работа Осанаи-сана и художника Кавасима-сана, их достижения стоят теперь на такой высоте, что Осанаи-сан был бы желанным режиссером в лучшем европейском театре, а картины Кавасима-сана я не удивился бы увидеть на выставках московского Мира Искусств и парижского Салона. Иными словами: молодое, европеизированное искусство теперешней Японии вырастает уже в монументы, — подпочва для его возрастания созрела в Японии <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См. глоссу XIV.







# **ВНЕ ПЛАНА ИЗЛОЖЕНИЯ**







## 1. ЯПОНИЯ — ЕВРОПЕЙЦУ

Европеец—американский гражданин мистер Смит или Райг из Шанхая —презирает Японию. Он говорит с величайшим презрением:

— Это чорт знает что такое, каждый японец — обязательно идиот, а пять японцев вместе — такие жулики, что с ними ничего невозможно сделать, и они тебя вокруг пальца обведут. Это же не страна, а чорт знает что такое.

Никак не разделяя мнения мистера Райта о Японии, тем не менее, я очень его понимаю. В общежительном отношении эта страна—европейцу неудобна. Зимой в этой стране холодно и сыро, летом в этой стране неимоверно жарко и — опять сыро, так сыро, что все пиджаки мистера Смита и его ботинки покрываются плесенью. Во всей Японии нельзя достать настоящего сливочного масла, ибо такового там нет, и невозможно получить настоящего хлеба, ибо как европейцы не разбираются в тридцати способах варения риса, так и японцы не имеют толкового понятия о качествах хлеба. Ветчину европеец должен есть в консервах, привезенную из Австралии. Квартирь, такой, чтобы не дуло с пола и из окон, невозможно в Японии найти, ибо, хотя там и строятся европейские коттеджи, все равно они строятся на японский лад, картонными фонариками, в которых все дрожит и отовсюду дует.

Все европейцу в Японии дорого, ибо японский табак ему не привычен, а на английский—баснословные пошлины, ибо у европейца такие потребности, которых нет у десяти японцев,—ибо—даже в универсальных магазинах—две цены: для японцев и для иностранцев.

Но все это мелочи перед тем основным, что решает все,—перед тем, что в Японии не уважают европейца, белого человека. С ним совершенно вежливы и совершенно вежливо спрашивают на границе, кто у него бабушка, и неукоснительно просят развязать его чемоданы,—а затем в вагоне (он едет в первом классе, по вагонам идет бой-сан из вагона ресторана, раздавая билетки на обед) мистер Райт, негодуя, видит, что в вагоне-ресторане сначала перекормят всех японцев, даже третьеклассников, и только потом позовут его, первоклассника,—и накормят чорт знает какую белибердою, подделанной под английскую кухню,—но и этой белиберды дадут такое количество, что мистер Райт поднимается из-за стола голодным, в горькой обиде от голода и от того, что его не уважают.

Мистер Смит остановится в Токио в Имперал-отэл, иначе он потеряет «лицо», за номер он платит двадцать семь рублей в сутки, и ему отовсюду дует, и его не уважают, и кругом него стена вежливейших лиц,—не лиц, а масок, через которые мистер Смит ничего не видит.

Мистер Смит приехал заключить торговую сделку, и он ее заключит,—но непременно так, что он будет надут. Мистеру Райту вечером скучно, но в театр он не пойдет, ибо в тех местах, где японцы плачут, ему хочется спать,—в ресторан он не пойдет, ибо никаким рублем его не заставишь кушать каракатицу. Хорошую девушку, гейшу из чайного домика, которая любила бы мистера Райта и была бы страстной,



мистер Райт достать не может — в этой, по его понятиям, развратной стране, — ибо хорошая японка не пожелает иметь интимных дел с европейцем, от которого — на нос японцев — кисло пахнет, а в Йошивару пойти — вся охота пропадет, как только он увидит, что там такая спокойная деловитость и институтственность, что даже выпить нельзя.

И мистер Смит раздумается о землетрясении, — а ночью, когда на самом деле будет маленькое землетрясение, он выскочит в коридор из своего номера мертвецки-бледным, без подштанников и с туфлей в руках. —

И мистер Смит презирает Японию, ее камни, ее народ — чистосердечнейше, искреннейше, — и, если мистер Райт к тому же и писатель, он пишет тогда такие клеветнические книги, как «Кимоно» Джона Перриса, книги, интересные только тем, что в них можно проследить расовую ненависть европейца, англичанина к японцу.

— Это же черт знает что такое, — говорит мистер Райт: — это же муравьи, термиты, которых даже землетрясения не унимают!.. Это же, это же —

— и мистер Смит в ступоре и недоумении склонен предаться метафизике! —

---

## 2. ЯПОНИЯ — МНЕ: ПОЛИЦИЯ

... Я сразу открываю карты, потому что у меня нет ничего, кроме окончательного недоумения и ощущения окончательного идиотства перед японской полицией, — и ничего нет, кроме благодарности и уважения, и даже виновности — перед японской общественностью.



О полиции.

Писал уже, в японских театрах есть такие «никтошки», которых надо не видеть, но которых все видят и которые в своей невидимости — тоже — играют. Сами японцы своих секретных агентов называют «ину» — собаками. Так вот эти «никтошки ину», никтошные собаки, — много мне крови испортили.

Я начну с Китая, ибо китаи были мне увертюрой. На китайской границе у меня отобрали все книги, чжан-дзо-линовские ину, взяли даже Флобе́а, Саламбо, издание 897-го года: большевистская зараза. В Харбине на моей лекции, когда я открыл рот, чтобы говорить, подошел ко мне китае-офицero-полицейский чин и сказал, дословно, следующее:

— Гавари — нельзя. Мала-мала пой, мала-мала танцуй. Читай нельзя.

Я ничего не понял. Мне перевели: полиция запрещает мне говорить и читать, но разрешает танцевать и петь. — Звонили по властям, волновались, недоумевали, — некоторые советовали даже лекцию мою читать мне нараспев. Петь лекцию я отказался. Этаким добрый китаи: стоит, смущенно улыбается, вежливый, ничего не понимает и всем объясняет в сотый раз: — «Гавари нельзя. Мала-мала пой». — Так и разошлись ни с чем.

... Удивительнейшая, прекраснейшая на глаз страна — Корея, Страна Утренней Ясности, как она называется по-корейски, пустынная страна гор, долин, голубого моря. В вагоне, кроме нас, ехали японские офицеры, синяя весна благословляла землю, — мы сидели в обсэрвешэнкар, в стеклянном вагоне, прицепленном к концу поезда для того, чтобы из окон его можно было обозревать красоты, поистине прекрасные. Мы сидели на терраске обсэрвешэнкар, грелись марговским солнцем, любовались белыми одеждами корейцев, точно вся Корея — как некий



средневековый, белоодежный монастырь, — корейцы, высокие, стройные, в белых одеждах, трудились над рисовыми полями. В вагоне-ресторане бои подавали медленно, в этом солнце и тепле после голубых и отчаянных маньчжурских морозов. Впереди, к ночи, предстояли Фузан, Цусимский пролив, — наутро — Япония подлинная, Симоносэки:

Мои дела начались с Фузана. В тот момент, когда я шел за безмолвным носильщиком, мне в глаза вник и меня остановил низенький человек, в шляпе, в европейском пальто, сидящем на нем так же, как на мне сидело бы кимоно.

— Ви — русский, ви говорите по-русски, ви грамотный? — спросил он меня сурово, по-русски.

— Да, я русский, — ответил я.

Тогда он стал вежливым, поклонился в пояс, зашипел и сказал:

— Ви — Бируняку-сан? Ви японский визит? Я ситар в газета.

Он разыграл, что случайно читал обо мне в газетах, поэтому знает.

— Ви — писи-писи? — ритерацура?!

— Да, литератор, пишу.

Чемоданы мои были где-то. Ину повел меня на пароход, он, видите ли, гуляет, и он очень любезен. Организованность у японцев прекрасная, мои чемоданы без меня уже лежали в моей каюте. И сейчас же за мною в мою каюту вошел ину, без всякого, конечно, спроса, сел, вынул листки бумаги и, — без всякой любезности, с катастрофически-идиотской скукой, с трудом, как если бы я иероглифами, — стал писать.

— Ви Бируняку-сан? ви грамотный? ви писи-писи ритерацура?

Допрашивал, как во всех на Земном Шаре участках. Объяснил, что он «полицейский», агент особых



поручений при фузанском губернаторе, — и стал со мною разговаривать о том, о сем, ловить, не зная языка, расселся удобнее, собака. Я стал соображать, что он поплывет со мною в моей каюте до Симонэ-секи, сказал ему:

— Вы бы ушли отсюда, здесь женщина едет, ей надо переодеться.

Когда японский никтошка не хочет отвечать, он делает вид, что не слышит и не понимает.

— Вы, что же, поедете со мною до Симонэсек?

— Нет, там вас другой полицейский встретит.

Мой ину ушел с парохода последним. С ним я встретился еще раз, возвращаясь из Японии, — он встретил меня, как старого знакомого, — он был гораздо живее, совсем хорошо говорил по-русски, беседовал о «ритерацуре», спросил:

— Как вам японская полиция?

Я ответил чистосердечно, что японская полиция произвела на меня впечатление идиотское. Он рассмеялся и сказал:

— Да, знаете, совершенно собасья дозность!..

Цусимский пролив — прекрасен, и пароходы у японцев там ходят отличные, и в третьем классе на пароходах, сообщил мне мистер Гмит, общая для мужчин и женщин купальня. Но мне было ни до красот, ни до качеств и фольклора. В Симонэсеках встретили меня — уже не один, а с полдюжины ину. В шипении и в отчаяннейшей, непреклоннейшей вежливости одни записывали имя моей бабушки, другие диктовали мне «Объявление», в коем «я, нижеподписавшийся», обязался не нарушать японских правил общественного порядка и не заниматься коммунистической пропагандой. Под надзором ину я ходил в сортирчик. Ину повел меня в ресторан. Ину взял мне билет. Несколько ину втолкнули меня в пустой вагон, где лежали мои чемоданы, — и рыться



в вещах ину, шипя из уважения к вещам, могут гениальнейше, по способу Синоби.

Я был совершенно трезв, но я сам себе казался тем кинематографическим пьяным, который спасается от сорока полицейских. У меня не было ничего нелегального, все документы у меня были в порядке, ехал я, в сущности, по приглашению японской общественности, по приглашению японских газет.

Меня обыскали, перерыли мои вещи, ко мне приставили конвой, — все мои действия и желания предупреждались ину, ину даже решил за меня, что я хочу есть. Со мной ехал т. Попов, председатель Масложирсиндиката, к нему тоже приставили ину, обыскали, только не брали «Объявления».

Мистер Смит, которого только обыскали и опросили, в нашу сторону не смотрел.

В ресторан ввалилось человек пятнадцать корреспондентов. Есть же интернациональное братство работников пера, — я взвыл от полиции перед ними, — и тут я впервые научился различать индивидуальность японских лиц по тому, как опускали в молчании свои головы корреспонденты. Корреспонденты-фотографы просили ину отойти.

У меня уже в мистику разрослись слова, с которыми ко мне обращались — по-русски — ину: «ви русский? — ви грамоцный? — ви писи-писи ритера-цура?».

Ину посадили нас в поезд, — поезд понес нас в красоты Японии, в эту невероятную для глаза прелесть, в зеленые рощи, в созревающие апельсины и в такую глубь синих заливов моря и синего неба и синих гор, — что — передо мною сидел ину, ину дал мне свою визитную карточку «чиновник особых поручений при Симоссэксском губернаторе», ину пытал меня, фантастически арестованного человека.

Я был счастлив, что со мною не поехал Всеволод Иванов, ибо, зная Всеволода, мне было ясно, что Всеволод кончил бы эти дела мордобоем (и к слову, знающие люди мне говорили, что битье ипу явление нормальное, общепринятое, ибо такой характер, как у Всеволода имеется и у других). Я не понимал, что такое произошло, по какому поводу я арестован, — по наивности я спрашивал это у ину, они отмалчивались, не слыша. Через каждые два часа ину менялись. Так было до Токио.

В Токио мы приехали утром. Часа за два до Токио, еще раньше Йокогамы, в моем купе собралось такое большое количество японцев, что я вынужден был с ними перейти в вагон-ресторан. Я ничего не понимал; теперь я знаю, что те, кто выехали вперед встретить меня, были подлинными моими и русской литературы друзьями, представители различных общественных организаций и газет, — пусть простят они меня: я тогда не понимал, кто полиция, кто не полиция. Представители общественных организаций мне сказали, что на вокзале мне организуется встреча...

Ну, и встречу же мне организовала полиция...

Впоследствии я узнал, что общественным организациям разрешено было меня встретить, но не разрешено было со мною говорить, — разрешено было встретить молча. И около нашего вагона выстроилась рота полиции, уже настоящей полиции, в форме, при пистолетах.

На меня набросились фотографы, запыльхал магний, от которого слепнут глаза. А в это время подходили люди, молча жали руки, передавали визитные карточки и отходили в сторону. Понять ничего возможности не было. Затем, по команде полиции, мы тронулись к выходу.



Тут уже, поистине, я потерял все: волю, понимание, вещи, друзей. Я ехал в одном автомобиле, вещи в другом, кто платил носильщикам, за автомобили — я до сих пор не знаю. В одной гостинице нам отказали, в другой тоже. В третьей, когда тащили мои чемоданы, я видел, как спешно в два соседних номера вселялись ину, а внизу у портье размещался наряд полиции. Видел, как репортеры воевали с этой полицией, чтобы проникнуть ко мне. Мне подсунули листок бумаги, с вопросами о прабабушках, написанными по-английски. В волнении я стал писать по-русски, — заметив, хотел было начать снова: мне сказали, что в гостинице живет русский, сибирский атаман Семенов, что он переведет.

Тут я взвыл окончательно, бросил мои чемоданы и побежал доставать автомобиль. Мой переводчик, который все время был спокоен и успокаивал меня тем, что так, как со мною, в Японии бывает со всеми уважаемыми иностранцами, — вытащил за шиворот от шофера ину. Я поехал в наше полпредство к полпреду Коппу. И перед Коппом я взмолился, чтобы он меня спас.

В этот же день я переехал на дипломатическую квартиру к секретарю полпредства Л. И. Вольфу. В этот же вечер японской полицией был занят особняк перед нашим домом, перед моим жильем, — и полиция выехала оттуда вместе со мною. В. Л. Копп писал в японское министерство иностранных дел: ему ответили оттуда, что полиция приставлена ко мне, — «чтобы со мной ничего не случилось, охранять меня от опасностей».

Мне объяснили, что полиции бояться нечего, ее можно даже бить, ину. Ольга Сергеевна вскоре привыкла к своему ину, звала его Петей, и он таскал из лавочек ее покупки. У меня же много раз болела



голова от этих никтошек, которые считали себя в праве поступать иной раз так: — я сидел у приятеля, на улице шел дождь, был двенадцатый час ночи, — и в дверь постучали, — мой никтошка, сняв шляпу, в позе из европейской оперы обратился ко мне:

— Бируняку-сан, я обращаюсь к вашим человеческим чувствам, — на улице идет дождь, уже поздний час, — пожалуйста, ступайте домой, где я смогу передать вас другому полицейскому, а сам обсохнуть...

...И все же, почти ни разу я не существовал без полицейского надзора в Японии, круглые сутки ни на минуту меня не оставляли никтошки-ину: в городе, в полях, в горах; когда я летал из Токио в Осака на аэроплане, никтошки расстались со мною на аэродроме, проводив меня головами, задранными вверх, — и осакские никтошки в Осака первые встретили меня густою цепью. Ничего более идиотственного и нелепого, чем эти никтошки, я на своем веку не встречал, эти собачьи рожи, так и ждущие кирпича, — ничего более оскорбительного для Японии, как эти никтошки, в Японии я не встречал. — И — чем идиотственней были эти никтошки, собаками ходящие за мною, — тем большее уважение вызывают в моей памяти люди японской общественности, потому что всех японцев, приходивших ко мне, потому что каждого японца, приходившего ко мне, полиция записывала, — и каждого японца, уходящего от меня, допрашивала, допрашивала, никак не стесняясь меня, ибо, если я выходил с моими друзьями-японцами, все равно их сейчас же отзывали в сторону, задерживали автомобиль и мотали их души. С рядом писателей я так и не мог встретиться, ибо полиция и к их домам приставила ину.

А около моего дома была лирическая картина; мой дом стоял на углу, в тесном переулочке, зарос-



шем тенистыми деревьями, — и на другом углу был разобран забор, в заборных щелях, около хибати, грея руки и кипятя едово, сидели—очень мирно—ину; я выходил в палисадничек, смотрел на них, они кланялись и улыбались, очень вежливые. Бить их я ни разу не бил, хотя мне кое-кто и советовал.

### 3. ЯПОНИЯ — МНЕ: ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

... И теперь — о японской общественности, встретившей меня. За час до Кобэ, по пути в Токио, ко мне пришли представители осакских газет, и на вокзале Осака меня фотографировали. За два часа до Токио мне пришлось переселиться из своего купэ в вагон-ресторан, чтобы беседовать с людьми, встречавшими меня. На станции Токио — в безмолвии — я пережал десятки рук. И в этот день, несмотря на то, что я и полиция окончательно обалдели в погонях за гостиницами, — полиция в погоне за мною, я в бегах от полиции, — через полицейские заставы ко мне пришли Акита-сан, Сигэморисан, Канэда-сан, — они пришли от Нитиро — гэйдзюцу-кьокай, от Японо-Русского Литературно-Художественного Общества, поздравить меня и пригласить к себе, — и Ольге Сергеевне они принесли цветы.

В эти дни во всех газетах была моя физиономия, и через полицейские заборы никли ко мне корреспонденты газет, — и в газетах едчайше издевались над полицией.

На второй день моего приезда я был уже сотрудником крупнейшей демократической японской газеты «Осака-Асахи-Симбун», газеты с полуторамиллионным тиражем, и затем сотрудником социалистического журнала «Кайдзо».



На аэроплане Асахи я летал над Японией.

Меня переприглашали все японские театры и художнические объединения. В театре Осанай-сана я чувствовал себя таким же своим человеком, как за кулисами МХАТ 2, — а картину Эндо-сана, подаренную с выставки, я повесил в лучший мой угол.

Мое время взяло у меня Нитиро-гэйдзюцу-киокай, посвятившее мне и моему приезду девятый номер своего журнала, — общество, по отношению к которому у меня нет ничего, кроме глубочайшей благодарности: оно, взяв мое время, распределило его так, чтобы я мог повидать так и такую Японию, которая европейцам не видна, — оно не побоялось полезть на рожны полиции, возило меня на Синсю, в Коганэи, устраивало банкеты, Сигэморисан и Канэда-сан постоянными были моими переводчиками.

Вот декларация Нитиро — гэйдзюцу:

«Россия после Октябрьской Революции 1917 года показала себя во всей своей сущности, и новое творческое искусство ее привлекло к себе внимание всего мира.

«Само собою разумеется, что изучение этого нового искусства имеет огромное значение.

«В то время, как наши так называемые насадители культуры склонны с пренебрежением относиться к развитию современной жизни, наша молодежь из одного угла Дальнего Востока устремляет свой пытливый взор к новым течениям мысли всего мира, и немудрено, что она самым серьезным образом интересуется также и русским пореволюционным искусством.

«Как орган, который мог бы содействовать изучению этого искусства, нами было организовано Японо-Русское Литературно-Художественное Общество.

«Цель Общества заключается не только в устройении собраний, издании печатных трудов и органи-



зации лекций, но и в установлении непосредственных связей между литерату́рым ми́ром России и Японии путем командирования членов Общества в Россию и приглашения советских художников и лите́раторов в Японию. Однако, для успешного осуществления этой цели, прежде всего, необходимы взаимное понимание и дружба. Только при таких условиях мы надеемся на возможность целесообразного изучения искусства обеих сторон и на вытекающее отсюда культурное сближение их. Культурное же сближение обоих народов, как мы в том глубоко уве́рены, принесет крупную пользу не только обеим странам, но и всему, вообще, миру.

«Учредители Японо-Русского  
Литературно-Художественного  
Общества».

«Токио, марта 1925 г.»

Через это общество я познакомился с японскими писателями; через это общество я сдружился с Нобори-сан и Йонэкава-сан, двумя профессорами русской литературы, знатоками России, переводчиками, поделившими между собою всех наших классиков. Можно рассказывать о дне, проведенном в Васэда-ском университете, о корпусах их аудиторий и гуде лабораторных мастерских, о коридорах библиотеки, о тишине университетского (по-английски) парка. Можно рассказывать о школе гейш. О ресторанах Гинзы. О профессорских кабинетах. О цветущих вишнях Коганэи.

Мне сейчас надо утвердить, что все, что выпало мне в Японии, я принимаю никак не на мой счет, а на счет нашей советской общественности, представителем которой я был там.

Не знаю, какими путями, но я имел приглашение на «гардэнпарти» к императору и министру иностран-



ных дел: к императору не ходил, у министра был. Можно рассказать десятки моих дней, застрявших в памяти и записной книжке,—о том, что у японцев,— в столицах и в уездах и в деревнях,— обязательно есть очередная выставка, живописная, кустарная, электрическая, сельско-хозяйственная, истории японского платья, карликовых деревьев, танки,—очередная выставка, которую надо посмотреть; о том, как после сливы отцветала вишня, и надо было смотреть гейш, новые постановки Осанаи-сана («Власть тьмы», в частности), надо слушать концерты Ямада-сана. Не память уже, а записная книжка на такое-то число подсказывала, что утром надо написать то-то, что в двенадцать придет художник, что после завтрака машина с Осэ-саном и издателями понесет—сначала на японский обед, а потом в театр и после театра в Асакуса,— что завтра с утра надо ехать к писателям, провести день с ними в загородных рисовых полях, в горных тропинках,—погрузившись на этот день в тишину японских домиков, в Японию подлинную, непонятную,—чтобы в сумерки сидеть в кабинете Ионэкава-сана, философа и мудреца, сидеть в Японии—в русских книгах, собранных так же любовно, как собирали их подписчики «Книжного Угла», в разговорах о культурах народов. Можно рассказать о старинной сёюгунской столице, Камакуре, о Дай Буцу там и об Острове Музыки, острове, который вечно шумит соснами в море... И все это через заборы собакообразных никтошек,—заборы, через которые я лазил в одинаковой мере столько же, сколько и профессор Ионэкава.—Все это: мне, как писателю новой России.



#### 4. ЯПОНИЯ — НАМ: ОБЯЗАННОСТЬ<sup>1</sup>

Теперь о том, что сделано японцами — для новой России, только в плане литературном. Я перелистываю книги, те, что лежат у меня в соседней комнате на столе, — только те, в коих сделаны пометки по-русски, ибо по-японски я могу читать только свою фамилию, — и эти книги совсем не всё, переведенное и написанное в Японии.

Выписываю, — переведены отдельными книгами и в журналах:

Блок, Белый, Брюсов, Каменский, Мандельштам, Полетаев, Есенин, Эренбург, Обрадович, Дорогойченко, Колоколов, Орешин, Клюев, Князев, Маяковский, Пастернак, Владычина, Демьян Бедный, Рюрик Ивнев, Александровский, Герасимов, Кириллов, Мариенгоф, Хлебников, — все эти авторы собраны в антологии Осэ Кейси «Поэзия большевистских дней».

Переведена проза:

Вс. Иванова, Эренбурга, Зощенко, Яковлева, Федина, Замятина, Лунца, Буданцева, Касаткина, Лидина, Ляшко, Никитина, Новикова-Прибоя, Сейфуллиной, Соболя, Шагинян.

Переведена (переводчик Сэгимори-сан) «Литература и революция» Л. Д. Троцкого, отдельной книгой, — переведены статьи А. К. Воронского, Когана, Львова-Рогачевского, — переведена декларация Леф'а (и вышла одна книжка переводов Осэ в красной обложке Леф'а).

Над переводами работают: Нобори-сан, Йонэкава-сан, Ида-сан, — профессора, — Осэ-сан, Канэда-сан, Сигэморри-сан, Фудзи-сан, Авая-сан, — одну из моих кни-

---

<sup>1</sup> См. глоссу XV.

жек перевел Хираока-сан, дебютируя, как переводчик, этой книгой.

Театр Осанаи-сана издает свой журнал, посвященный, главным образом, русскому театру.

Симфоническое общество Ямада-сана издает журнал, так же много места уделяющий русской музыке.

Передо мной, сейчас, когда я пишу эти строки, лежат шесть томов профессора Нобори-Сьому (Сьому — псевдоним), — вот названия этих томов по порядку, названия, выписанные по-русски рукою Нобо\_и-сана:

1. «Мое впечатление от Советской России».
2. «Театр и балет революционной эпохи».
3. «Утренний период Новосоветской литературы» (в этой книге, к\_оме общих статей, даны характеристики следующих писателей: Вяч. Иванов, Брюсов, Кузьмин, Сухотин, Блок, Маяковский, Пасте\_нак, Есенин, Ма\_иенгоф, Эренбург, Федин, Вс. Иванов, Пильняк, Толстой).
4. «Первый сборник Новосоветских искусств» (посвященный живописи).
5. «Второй сборник Новосоветских искусств».
6. «Пролетарский театр, кино и музыка».

Японцами сделано гораздо больше нас для изучения нашего искусства, — гораздо больше даже того, что сделано нами для изучения японской культуры и японского быта. Когда японцы что-нибудь делают, они делают это очень упорно. Японская государственность заботливейше отгораживается от теперешней России всякими способами, и, в частности, книги, посылаемые почтою в Японию, даже заказною, туда не доходят: это тоже только на мельницу японской общественности. — Я, по приглашению, полученному через наше полпредство, был на выпускном акте Токийского Института Иностранных Языков, — там соб\_ался дипломатический корпус посмотреть, как японская молодежь учит иностранные языки, — и перед нами прошли студенты, говорившие дирек-





тору Института прощальные речи на русском, немецком, французском, испанском, португальском, китайском, индусском, малайском, английском языках. Юноши, которые окончили институт по русскому отделению, приехали уже в Россию и будут здесь совершенствоваться в языке и изучать Россию лет по восемь: и они будут знать Россию.

Я — тоже европеец, сын страны, чуждой Японии. Я только-что рассказал, как меня встретила Япония, — и о том, как Япония встречает Россию. То, что было со мною, складывается из ряда элементов и — выбрасывает ряд элементов. Япония приветствует и изучает — не только Россию, но и весь мир, в Институте Иностранных Языков изучаются малайский и турецкий языки, — но больше всего Япония следит за Америкой и Россией: у Америки она хочет взять машины, у нас она хочет взять духовную культуру.

И совершенно ясно, что машинною и духовною культурами интересуются разные слои общества: это и есть ключ к свирепствованию по отношению ко мне ину и к заботам обо мне японской общественности, — поэтому почта не пропускает наших книг, и эти книги, все же, переводятся.

Япония хочет знать не только эти наши дни, — но хочет знать, и добивается, и знает — последнее столетие нашей культуры (сколь ни парадоксально это звучит для меня!), — наши классики оказали очень большое влияние на японскую литературу и общественность.

У меня очень часто болела в Японии голова от нервного перенапряжения, от непонимания того, что со мною делалось, от насморков: я тоже европеец, сын чужой страны. И ину добились, конечно, многого: в укромных местах я сидел над записями и книгами, чтобы разобраться в этих укромностях, но я ни разу не исхитрился побывать в рабочих райо-



нах, на рабочих собраниях,—однажды я побывал на фабрике и о том, как я поплатился, об этом я рассказал. И я ничего не знаю о том, как растут и складываются силы рабочих и буржуазии: этого я не видел.

В укромных местах я узнал, что два года тому назад на площади Терономон студент Намба, первый раз за всю историю Японии, стрелял в принца-регента, ведущего род свой от богини солнца Амата-расу, — студент Намба, бросивший университет для рабочих казарм. Этого мира японская полиция не дала мне увидеть<sup>1</sup>.

Из того же, что я читал в укромных местах, я запомнил только несколько вещей, — о том, что на бумаго-ткацких фабриках все письма к ткачихам перлюстрируются, и фабрики так построены, что на них нет места, где, хотя бы на момент, человек мог быть наедине сам с собою, — за заводские же заборы ткачих не выпускают: если же они мрут, их трупы сжигаются и родителям в деревни дирекция посылает пряди их волос. И еще запомнил я песенку, которую поют рабочие шелкопряды и ткачи, — в этой песенке говорится о том, что:

Если можно назвать прядильщицу человеком,  
То и телеграфный столб может расцвести.

Я читал роман Эгути-сана,—такие романы писались у нас в 1904 году: газетный работник ушел в подполье, в революцию, он связался со студенчеством, и он, и студенты его дружества, и его любовь — были очень одиноки, одинокий кружок, никак не сумевший связаться с рабочими, с действующими силами, — и попустому, в благороднейшей любви к абстракциям и боли, они пошли в тюремные

---

<sup>1</sup> См. глоссу XVI.

бредни. — Фарфоровым чашкам телеграфного столба, конечно, трудно расцвести: но — всяко бывает!.. В императоров стреляют и в Японии... Последний закон о женском труде запрещает женщинам работать больше 12 часов.

---

## 5. ЯПОНИЯ МИРУ <sup>1</sup>

...Ину добились, чтоб я много не видел. Экономические справочники и экономисты рассказывают следующее, статистически. Это следующее — кратчайше — сейчас изложу. Это следующее я поставил себе к тому, чтоб ответить на вопрос о том, какие силы дали японскому народу, единственному цветному народу, противостать против белого человека. — И это следующее показало удельный японский вес.

Причины, давшие Японии возможность капиталистически развиваться:

- 1) наука и техника, готовая из Европы,
- 2) дешевый труд,
- 3) удачные Японо - Китайская и Японо - Русская войны,
- 4) жесткая таможенная политика (в связи с войнами) по отношению ввоза и протекционизм по отношению к национальной промышленности,
- 5) барыши Великой Войны.

Теперешнее состояние экономики:

- 1) отсутствие дальнейших ресурсов-объектов, к которым была бы применена американо - европейская техника (отсутствие неразработанных естественных богатств, — железнодорожное строительство выполнено на 100%, судостроение после войны, гиперболически развившись во время войны, пало,

---

<sup>1</sup> См. глоссу XVП.



2) протекционная промышленность развита до предела,

3) вздорожание труда, лишаящее возможности конкурировать товарами по стоимости их производства,

4) заполнение рынков как внутренних, так и внешних (Китай, Дальний Восток).

Экономические перспективы Японии и ее начинания — единственны: дальнейшее расширение промышленности за счет улучшения техники. Но такая возможность ограничивается:

а) имеющимися уже странами с высококвалифицированной техникой и массовым производством,

б) отсутствием в Японии национальных естественных богатств-ресурсов (нефти, руд, каустики),

с) главный предмет экспорта — шелк-сырец — не имеет перспективы к дальнейшему развитию,

д) отсутствие возможности империалистического захвата рынков.

Главным конкурентом Японии на Дальнем Востоке являются Северные Штаты. Япония готовит плацдармы для войны с Америкой. Но Япония сидит под пятой американцев, ибо — единственное богатство Японии — шелк-сырец покупается только Америкой — 40% всего японского экспорта... Железо японцы — ввозят, вырабатывая 1/2% того, что вырабатывает С.-А. Ш.

Кэнсэйкай, партия японской индустрии, верхушка госдеятелей, на последней парламентской сессии выдвигала программу — следующую: Япония должна понизить стоимость своего производства и улучшить качество продукции. Для этого надо — всей нации — понизить стоимость жизни, стоимость питания. Для этого придется разорять крестьянство, направив его в эмиграцию, в Корею, на Формозу, в Бразилию. Парламентом введено учреждение, нечто вроде на-



шего Наркомвнешторга, контролирующее экспорт, выдающее премии за качество. Японцы завязывают торговые сношения всюду, — проникают даже в Турцию, в честь чего в Токио строится мечеть. Но главный их рынок — Китай — сейчас похож на такие темные воды, в которых нельзя уже ловить даже рыбу, Япония везла в Китай текстиль и продукты малоценного и очень емкого рынка, — все это сейчас начинает делать китайская национальная буржуазия. А Японии надо строить пушки, дредноуты, крепости, ибо Япония собирается воевать с Америкой, и потому, что Япония живет в местах, где сохранилось еще самое обыкновенное пиратство и — по-колониальному — все решается пушками как стоящими на земле, так и теми, которые палят с дредноутов.

Вторую страницу сейчас я пишу, стараясь быть экономистом, — и знаю, что, чтоб писать так, надо перестроить все, написанное мною здесь, — и знаю, что — никогда ничего не надо делать с кондачка, не только в тех вопросах, где речь идет о государственной политике. И вот свидетельствую, что в Японии — очень многие дымят заводы, очень многие головы внимательнейше заняты вопросом, как жить этому нищему государству. Да, — ни щ е м у, — и потому, что они живут в шалашах, едят ракушек и одеты в бумажные тряпочки, и потому, что мистер Смит чистосердечнейше возмущается неумением японцев делать хорошие вещи, умением японцев делать только суррогаты всяких недоброкачественностей, — и потому, что их национальные данные, богатства и возможности, чему свидетелем приведенные выше экономические выписи — нищи — —

— — и потому, как писал уже выше, что века мудрости японского народа приучили японцев отказываться от вещи, — приучили — и века мудрости и до-



жди, в которых все плесневееет, и вулканы, — когда японцы, вместо каустики, рентою имеют организованные нервы, нервы, организованные в волю.

Уезжая из Японии, — от Японии до России я проделал такой путь:

Токио — Кобэ — Симонэсеки — Фузан — Мукден — Дайрэн (бывший Дальний, около Порт-Артура) — Тяньцзин (морем) — Пекин — Ханькоу — Нанкин (пароходом по Янцзы-Цзян), — Шанхай — Владивосток (морем).

Так вот, в первый раз после Токио, проехав всякими путями через весь Китай, — впервые я показал паспорт и развязал чемоданы по требованию начальства — во Владивостоке, ибо только для Владивостока было неавторитетно, что я еду из Японии.

Да, весь Китай прошит японцами. Нечего говорить о Трех Северных провинциях, где сидит Чжан-Цзо-Лин: это колонии японцев без всяких фиговых листочков. Когда я ехал в Японию, меня распоясывали на каждом перекрестке, — когда я катился с японских гор и от японских ину, меня уже никто не трогал. — Япония! — на Востоке звучит страшно. И по всему Китаю, сшивая его нервами железных дорог, банков, торговых контор, фабрик, концессий — сидят японцы. Известна ненависть китайцев по отношению к японцам, — но, тем не менее, в писательских, в профессорских, в читательских китайских кругах — японская общественность, японская литература, японское искусство, японские книги и журналы, японский язык — занимают такое же место, как у нас в России у интеллигенции до революции все французское. Пекинская и шанхайская профессура знала мое имя не по европейским и русским источникам, а по японским, показывая мне журналы, где было написано обо мне или мое было переведено. — И оттуда, из



Китая, мне было совершенно ясно видно, что ни щ а я Япония — очень сильна, потому что не только пароходами, опутавшими весь Дальний Восток и захватившими крупнейшие европейские и американские рейсы, не только фабриками, но и книгами и паспортами (которых не требуется) они популярны, очень популярны и сильны на Дальнем Востоке.

Я закрываю глаза и восстанавливаю образ индустриальной Японии, «европейской», колонизаторской Японии: я вижу первомайские токийские манифестации рабочих, слышу поступь рабочих союзов в красных и белых плакатах; — я вижу этих маленьких людей, имеющих — на глаз европейца — одно лицо; — я слышу гуды пароходов, фабрик, заводов, паровозов; — я обоняю каракатический запах туши в банкирских и заводских конторах; — мне кажется, я вижу голые нервы; — я слышу вопли студента Намба в тюремном застенке, студента, стрелявшего в принца-регента; — я слышу шум гэта; — я слышу одиночество идущих в океанах пароходов, громы пушек на маневрах, шелест иен в кассах и на прилавках; — мне страшно представить японского солдата, который, по японскому принципу «наоборотности», бежит в атаку хохоча, похожий на японских чортоподобных богов; — страна маленьких, черных людей, крепких, как муравьи, эта страна живет очень крепко, очень упорно — тем, чем живет всякая капиталистическая страна, — и как в каждой капиталистически-феодалной, империалистической, колонизаторской стране, слышны хряски рабочих мышц, сип машин и: видны зори революций, — слышны крики феодальных осыпей, шопоты преданий старых замков. — Я слышу твердую поступь рабочих армий и понимаю, что мои ину — так же уйдут в легенды, как в легенды ушел камакурский Дай-Буцу и остров Миадзима, тот остров, где никто не родился и не



умирал и о котором можно прочесть у Бласко Иба-  
ньеса, — и я слышу шум организованных нервов...

---

## 6. ПИСЬМА КАК ИЛЛЮСТРАЦИИ ФОРМУЛ

. . . . .  
Вот отрывки из моих писем, которые я писал  
друзьям из Японии: — —

«...ты спрашиваешь, как я себя чувствую в Япо-  
нии. — кроме того, что все кругом меня таинственно  
и чудесно, что каждый новый день несет мне новые  
неве\_оятности, которые я осмысливаю величайшими  
головными болями, — кроме всего этого, слагающе-  
гося из вещей, лежащих перед моими глазами, — мои  
ощущения, мое состояние в этой таинственной стране  
определяется еще тем, что я оказался глухонемым  
и безграмотным человеком.

«Поистине я безграмотен. Я не могу написать  
письма и надписать адреса на конверте. Я не могу  
прочитать ни одной вывески, даже названия улиц, —  
и, стало-быть, я не умею написать даже адреса того  
дома и той улицы, где я живу, т.-е. я не знаю, где  
я живу. Нечего говорить о газетах, где даже статьи  
обо мне я воспринимаю, как дикарь, тем, что там  
напечатана моя фотография. Но у безграмотного,  
и у меня в частности, развиваются свои способы  
ориентации. Я, как волк в лесу, хожу улицами не  
по печатным приметам, а по приметам домов, свето-  
вых реклам, перекрестков. — Но я к тому же и глухо-  
нем, ибо я не могу сказать ни одного слова и ни  
слова не понимаю, что говорят мне. На улицах  
я вынужден говорить знаками, как говорило чело-  
вечество десятки тысяч лет тому назад, — но и тут  
меня преследуют всяческие трудности, ибо мой евро-



пейский жест японцы понимают как-раз наоборот: я говорю жестом, — „поди сюда!“ — и человек уходит от меня.

«Все же я пребореваю улицы и прочие расстояния. Не надо много фантазии, чтобы представить, каких трудов все это стоит, когда язык и грамоту я должен заменить глазами и когда до смысла вещей я пере-лезаю через заборы переводов. Мне иногда начинает казаться, что мои глаза заболевают. И очень часто к вечеру мой мозг оказывается изжованным, как тряпка, которая перестиралась сто раз... — —».

И вот второй отрывок:

«...я поехал в Японию не только потому, что я хочу рассказать о Японии в России, и не только потому, что в Японии я хотел рассказать о России. Основная цель моей жизни — писательство, — формирование тех эмоций и образов, которые прошли через мое сердце и через мой ум, — формирование их в рассказах и повестях, — формирование по тем принципам, что искусство, как все прекрасное, вечно присуще человеку, — и писатель над бытом и временем, прорываясь через них, должен стремиться к тому, чтобы его творения жили не только сегодняшний день. — И я должен сказать, что это мое путешествие в Японию, вне зависимости от тех знаний, которые я приобрету знанием Японии, — дало мне ог-омный короб таких эмоций и переживаний, какие не сможет дать ни один университет ни сотня прочитанных умнейших книг.

«И ничто не выветрит из моей писательской кухни твердого утверждения и знания, что ничто не статутно на этом шаре земли, где живу я и человеческие цивилизации, — что жизнь Земного Шара и очень дряхла, если есть такие старые, тысячелетние культуры, как восточная и европейская, такие, которые тысячелетия жили, не зная друг о друге, — и — что



жизнь людей Земного Шара — очень молода, ибо еще так много надо сделать человечеству, чтобы человек Москвы понял человека Токио и чтобы эти двое поняли человека с реки Конго. Ибо — только в Японии я окончательно почувал и понял тот великий путь, то новое переселение народов, правд и верований, в которые пошли народы и правды в эти столетия, когда весь Земной Шар отправился сливаться общностью знаний и общностью культур, осуществляя геометрическую формулу шара — —».

Выписей из писем — достаточно. Из всех стран, изборужденных мною, Япония больше всех сохранила свои национальные черты, — и больше очень и очень многих стран, виденных и знаемых мною, Япония готова выйти из-за заборов национальной своей культуры на большую дорогу — культуры не национальной, а человеческой Земного Шара. Я был в Институте Иностранных Языков, это только пример. И только пример, что все японцы ходят в кимоно и в кимоно читают газеты. Двести тридцать лет тому назад, при Петре Первом, когда Россия принимала Запад, первое, что она приняла, это были — платье, манера держаться в обществе: национальная одежда в России совсем исчезла и, если она где-либо сохранилась, она указывает, что туда никакая культура не заглядывала. И того, что случилось со мною, когда я в Японии оказался глухонемым и безграмотным, с японцами — не случается: японский писатель Акита-сан собирается в Россию, и он сейчас изучает русский язык, — если японец поедет в Россию, он будет знать русский язык. Люди Земного Шара идут по пути слияния общечеловеческих знаний и обобществления культур: Япония всячески готовится к этой дороге.

---

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2







## 1. ЯПОНИЯ С АЭРОПЛАНА

На рассвете меня разбудил студент Попов, мои ину сидели уже в автомобиле, и по пустым улицам автомобили понесли нас в редакцию Токио-Асихи. В редакции спал на столе в кимоно сотрудник, говорящий по-русски. Моих собак собралось внизу штук уже десять, шофера в гараже разводили автомобили. В тишине, которая казалась древней, шествовало утро, смоченное росой. Разместились в автомобилях, два ину, делая вид никтошек, влезли на автомобиль, сели на сиденья передо мною, — и узкими улочками, тенистыми дорогами, рисовыми полями, деревушками — мы поехали на аэродром, за сорок километров от Токио. Фудзи-сан предстал перед нами еще с автомобиля, розовая в солнце снеговая пирамида, опоясанная облаком.

... Я схожу с автомобиля, иду к аэродрому, роса садится на ботинки. На старте стоят два самолета. Один из них унесет меня в воздух, — на нем я полечу над Фудзи-сан, над морем, над японскими горами. С другого будут фотографировать меня для газет в воздухе. Я здороваюсь с человеком — пилотом Осима-сан — с человеком, которого я вижу первый раз и, должно-быть, последний, — который унесет меня в воздушные стихии.

Самолет — двухместный биплан. В войну 1914—18 годов такие аэропланы несли военные задачи в ка-



честве истребителей. Самолет — рабочий, не молодой, такой, который давно стал уже возчиком газетных корреспонденций Асахи-Симбун из Токио в Осака. И я лечу на нем из Токио в Осака, вместе с газетной почтой.

Начальник аэродрома отдает мне свои кожаные штаны, я надеваю два пальто, шлем, креплю над моими очками очки-консервы. Каждые сто метров ввысь теряют температуру на один градус, — и там, в высоте двух тысяч метров над землей, я буду в страшном ветре и морозе, в зиме. Мое место — место наблюдателя — открыто всем ветрам. Фотограф стреляет в меня аппаратом в тот момент, когда я влезаю в кожу штанов, завязывая их над пиджаком под мышками. Я лезу в свою кабину. Ремнем я привязываю себя к скамеечке. Я осматриваюсь в новом моем жилище, в том, где я проживу Японию в полете. Тросики хвостового оперения, руля глубины, ответственного рычага управления самолетом, — открыты, идут около моих колен: — я знаю: — если в воздухе я коснусь их, порву их, помну, — машина не управляема, нам останется только камнем лететь вниз. И я соображаю, что двигаться мне — нельзя: это совсем не то, что барином лететь в Юнкерсе или многоместном Фоккере. Под ногами у меня отверстие, такое, в которое я буду с воздуха видеть то, что будет у меня под ногами. Пилот садится в свою кабину.

Мне говорят, что второй самолет поднимется в воздух следом за нами: когда тот самолет будет около нас и мне махнут рукою, я должен подняться из кабины, чтобы меня было виднее, ибо меня будут фотографировать в воздухе. — Механик разворачивает пропеллер.

Я вижу только голову пилота: черным покойным глазом, птичьим глазом, он взглядывает на меня,



спрашивая — готов ли. — Я отвечаю ему улыбкой. Мои собаки стоят кругом, смотрят, вытянув носы.

Мы бежим по аэродрому. Земля рвется из-под нас. И вот земля качнулась под нами. Мы в воздухе. Я вижу, как земля стала на бок, как аэродром поплыл вниз. Пропеллер ревет. Ветер бьет в лицо и плечи. Люди, стремительно уменьшающиеся, машут нам с земли. Мои ину задрали головы и тоже машут руками. Я тоже хочу помахать руками, машу, — и ветер хочет оторвать мою руку. Но вот рядом с нами возникает новый рев, я гляжу: в десяти саженях от нас налево я вижу другой самолет. Мне машут оттуда. Я отдаю честь. И с того самолета стреляют в меня фотографическими пленками. Все это длится несколько секунд, потому что минуты в воздухе равны часам земли: не только потому, что в минуту самолет проходит почти столько же, сколько человек в час пешком, — но и потому, что в стихиях воздуха нервы напряжены сто крат крепче, чем на земле. Мы кланяемся друг другу, — и соседний самолет ласточкой оборачивается назад.

Я один. Я один, потому что за воем пропеллера ничего не слышно. Я один, потому что тому человеку, который сидит впереди меня, даже если бы и мог крикнуть, я ничего не могу сказать, ибо он не знает моего языка, а я не знаю его. Птичий его покойный глаз взглядывает на меня, я улыбаюсь ему. Я один со стихиями. Широчайший простор моря и гор под нами, — и только Фудзи-сан рядом с нами.

Я один со стихиями. Каждая минута полета равна часам земли. У меня бесконечное количество часов, чтобы думать. — Я знаю упоение полета, — упоение стихиями, упоение борьбы со стихиями, с неподчиняемым, с непознанным. Для меня полет —



неизъяснимейшее наслаждение, такое, которое так трудно передать словами. Пропеллер рвет воздух. Мимо нас, мимо моего лица рвется и орет ветер, стихия, которую мы покоряем. Земля там внизу, — земля долин, похожая на шахматные доски, и земля гор, точно горы кто-то просыпал с неба, — земля там внизу живет своею жизнью. Домики кажутся спичечными коробочками, — города — географическими картами, — горы — теми горушками, которые строятся в луна-парках. Когда с большой высоты на самолете идешь быстро вниз, — звенит в ушах, чувствуешь, как по жилам, густея, бежит кровь, чуть-чуть мутит: стало-быть, чем выше идешь в беспредельности, тем спокойнее кровь, нет никакого звона и есть неизъяснимое наслаждение полета.

Я — один. Мы — аэроплан, пилот и я — мы одни в стихиях. Земли и горы там внизу — не в счет. Мы не можем даже сесть на землю, ибо там в горах нет такого места, где могли бы мы сесть, не разбившись. И вот тут в этих стихиях рядом с нами — попрежнему величественный, в снегах, в спокойствии, прекраснейший Фудзи-сан. Только с неба я увидел, как величественен он, в белом спокойствии снегов величествующий над всем остальным, опоясанный облаками, скрывший свою вершину от людей с земли и видный только нам, летящим в небе.

Я один. С детства у меня есть поклонение перед человеческим гением, перед человеческим трудом и умом, перед тем величественным в человеке, что дает ему право покорять стихии, побеждать стихии, подчинять их себе. Самолет — величественнейшее, прекраснейшее изобретение человеческого труда и ума. Здесь, в стихиях воздуха, нас двое: пилот и я. Сегодня я увидел его впервые, — должно-быть, я больше никогда не встречу его. Я ничего не знаю о нем и ничего не могу сказать ему. И, все же, я знаю,



что пилот Осима-сан — здесь в стихиях воздуха — мне брат, в том братстве, когда человек человеку брат потому, что оба они человеки. Около меня проходят тросики руля глубины: стоит неловко мне задеть их, и мы полетим вниз, в лепешки сырого человеческого мяса — или печеного, если от трения с воздухом вспыхнет самолет. Стоит зазеваться пилоту, неправильно нажать руль, — и мы полетим вниз, в смерть. Наши жизни связаны опасностью смерти — или здоровьем жизни — и мы — братья, связанные жизнью. Наши головы на плечах, — и пилот поглядывает на меня птичьим глазом, я отвечаю ему улыбкой. И я покоен, ибо впереди меня сидит брат-человек, несущий меня по воздуху.

И так я думаю не только об этом нашем полете: в том полете Земного Шара, в тех его путях, которыми мы живем сейчас, не только Осима-сан и я — братья в праве на жизнь, но именно в этом праве должны братствовать и народы: — по воздуху нас несет самолет, наши жизни связаны самолетом, — мы летим по воздуху волей человеческого гения, подчинившего стихии машине. И здесь, около Фудзи-сан, я думаю о человеческом гении и труде: это такое поле для размышлений, где нету конца, ибо человеческий гений, облеченный в труд и машину, не знает конца, побеждающего миры.

... Облака заволакивают землю. Мы летим над облаками. На моменты земля исчезает внизу, закутанная облаками. И вот момент, который я запомню навсегда, как прекраснейшее из того, что я видел — — земли под нами — нет, там облака, мы над облаками, над нами синее небо и бесконечный, прекрасный свет, — и — кроме нас — над облаками — Фудзи-сан: мы и Фудзи-сан — над облаками, над землей — извечный, таинственный, метафизический для японцев Фудзи-сан и мы, залетевшие за Фудзи-сан волею че-



ловеческого гения. Таинственные, непознанные силы природы, мистически олицетворяемые японским народом во образе Фудзи-сан, и человеческий гений труда — встретились, побратались красотой за облаками.

. . . . .

Есть упоение в полете!..

Мы вылетели в восемь часов пятьдесят минут. Мы вылетели золотым утром, в солнце и сини далей. Бегут минуты, которые здесь в высоте кажутся часами. Ветер свистит, воет, рвет. Фудзи уже позади. Мы летим над долиной, идущей от Фудзи к бухте Суруга, к сини моря. И вдруг наш самолет становится на бок. Мы скользим на крыло вниз. Ветер воет над головой и звенит в ушах. Но мы уже кинуты ветром вверх, встаем на дыбы. Сердце в неизъяснимом блаженстве. И опять земля стала к нам боком, боком мы летим над землей, небо слилось вдали у горизонта с морем, — и за небо нам стали море и горизонт. Земля поправила под нами свое положение. Ветер рвет, воет, мешает дышать: ветер швыряет, бросает, кидает самолет — вверх, вниз, направо, налево. Ремень на моем животе то делается в вес моего тела, то тело невесомо, то давит оно на сиденье, точно хочет его продавить. Я понимаю: мы попадали в так называемые воздушные ямы, в полосу разнбойных воздушных течений. Я понимаю, почему пилот уходит все ввысь и ввысь: там меньше опасности, если самолет будет опрокинут ветром, — нам сейчас опасна только земля: если мы заденем за нее как-нибудь неловко, не успев выправить положения, — тогда — смерть. — Можно подумать, что самолет ожил, сердится, хочет нас сбросить с себя, — и я крепко держусь, чтобы не вылететь и — чтобы не задеть за те тросики, которые таят в себе смерть. Мы в огромной высоте над



землею, и холод бежит по лопаткам, леденит руки.— Опять стихии ветра кидаются нами, я крепче сжимаю мышцы, чтобы не вылететь, — и я вижу покойный птичий глаз пилота.

Мы вылетели золотым утром широких далей. Я смотрю кругом. Далей уже нет. Не только море, которое слилось с небом, но и земля ушла в синюю мглу, слила с небом свои горизонты. Мы летим над морем — над Великим, Тихим океаном. Океан под нами, — и глаз обманывает, точно небо обернулось вокруг нас: небо внизу, небо слева, небо над нами, — и только справа небольшой кусок земли, гористый там, куда достигает глаз, и похожий на тучи там, где глаз теряется во мгле. Мы идем выше и выше. Вот мы пролетаем сквозь сырость облаков, рвемся через облака: эти вечные странники — тут, рядом, окутывают своею холодной сыростью. Самолет рвется через них. Мы над облаками. Земля прорывается внизу так же, как небо, когда смотришь на него в облачный день с земли. — Это тут, в этом месте, я попрощался с Фудзи-сан, поклонившись его красоте.— Ветер рвет, ветер кидается облаками и самолетом. Земли не видно. Я судорожно, в морозе, сжимаю руки. Мы вырываемся из-за облаков: и невероятное зрелище я вижу на земле, такое, которое кажется олицетворением Японии. Под нами идут тучи, тучи льют дождями, — и земля под тучами: она черна, она зловеща, черная в черных тенях облаков, — страшная, злобная земля, изорванная горами и долинами, разметанная камнями, лысыми вершинами, полыхающая в свинцовых тучах молниями, злобная, страшная земля, похожая на чортоподобных японских богов. Мы летим в лохмотьях дождевой тучи. Ветер и тучи кидают самолет без всякого толка. И опять можно думать о непонятности Японии для европейца, о тех двух силах, которые сохранили в Японии



чортоподобных идолов и — кинули наш самолет за облака... но — думать уже трудно — —

.....  
Мышцы немеют от холода и нап[р]яжения. Самолет уже беспрестанно мечется ветром. Мне на земле сказали, что мы пролетим два-два с половиною часа. Я слежу за временем: мы летим уже два с половиною часа. Я вынимаю карту, сверяю те затуманенные тучами и облаками клочки земли, которые видны, с картою, — и ничего не понимаю: кажется, мы сделали только полдороги, если залив под нами есть бухта Исэ, — или — это уже бухта Осака, — но самолет от моря сворачивает на землю. Я ничего не понимаю. Я прячу в карман часы и карту, чтобы вновь не меть от оцепенения в новом шторме воздушных волн.

Опять я смотрю на часы. Мы летим уже три часа двадцать минут. Я ничего не понимаю. Я вижу: мы летим к горному перевалу. По вершинам гор идут облака. Чтобы перелететь через эти горы, надо подняться над облаками, ибо в тучах лететь невозможно, ибо в тучах сразлету можно налететь на горы. Тучи и облака стали сплошной стеною вокруг нас.

И — вот последнее величественнейшее ощущение — там, за тучами. Вопреки всем моим понятиям об авиации, самолет стал, повиснул в тучах. Я понимал, что лететь — некуда, ибо полет в облаках все равно, что полет с завязанными глазами, — но как пилот сделал, чтобы самолет остановился, — я понял только потом, когда мне объяснили, что пилот повиснул в воздухе штопором и что — тогда — мы были в гибели. Пропеллер ревел, выл мчащийся ветер. Но тучи стояли неподвижно, — они летели, как прежде, стремглав мимо нас, — они только потихоньку, медленно ползли вниз. Я понимал, что творится



нечто невероятное, — и природа, должно-быть, поняла это же, ибо самолет перестал болтаться. Груды облаков щемили нас. Я посмотрел на часы: мы летели четыре часа. Я убрал часы, чтобы больше уже не смотреть на них, и мне очень хотелось закурить. Я понимал, что мы только в руках природы, госпожи стихии, сколько бы мы ни стояли на месте: бензин ведь предельен и, если тучи не разойдутся, все же, вынуждены мы будем идти — и вперед и вниз.

И вдруг: качнулись тучи, раздвинулись две громады облаков, — и в щели между ними стала видна золотая в солнце земля, — и камнем стремительно кинулись мы в эту щель, к земле, за горный перевал.

Через четверть часа была Осака. Птичий глаз пилота улыбнулся мне, я ответно улыбнулся ему. Пилот рукою указал вперед: в синей мгле в долине я увидел город. Горный хребет был позади. Мы пролетели над замком и сели на аэродром.

Окоченевший, с истомленными мышцами, под выстрелы фотографа и в руки осакским шпикам, веселейше я вылез из кабины. И первое, что я спросил через переводчика, обращаясь к пилоту, было:

— Какою надо считать сегодняшнюю погоду?

Пилот ответил мне:

— Мы попали в воздушную бурю!

. . . . .

Я знаю, что пилот Осима-сан, с которым я никогда больше не увижусь, — есть — мой брат, с которым мы вместе крестились правом на жизнь. Я знаю: та машина, на которой мы летели, несовершенна, маломощна, — но, во-первых, эта машина вошла в будничные обиход, она перевозит почту газеты Асахи, служилая, как любой экипаж, — и, во-вторых, пусть она маломощна, с братом Осимой я



полечу куда-угодно, хотя я и не утерял, как он, инстинкта боязни индивидуальной смерти. И с образом Осима-сан у меня связывается образ всей Японии, о котором я писал в «шуме гэта».

---

## 2. ЯПОНИЯ ДО ЯПОНИИ, КОРЕНЬ СОЛНЦА

Иероглиф Японии—Страны Восходящего Солнца— есть **К о р е н ь** **С о л н ц а**. Япония — есть **К о р е н ь** **С о л н ц а**.

Британия несет свое имя от бриттов, живших когда-то на острове Британия. Имя Франции произошло от франков. Моя родина, Россия, ныне утерянное свое имя несла от норвежского племени русь. Япония имя свое несет от солнца, Страна Восходящего Солнца. **К о р е н ь** **С о л н ц а**!—Я поехал в эту страну корней, чтобы увидеть эти корни и чтобы увидеть тот народ, который живет у этих корней.

Та страна, которая назвала себя корнем Солнца, лежит на востоке от Москвы в одиннадцать тысячах километров,— те зеленые острова, которые до сих пор не приняли окончательной формы и дышат вулканами в судорогах землетрясений. Каждые сутки моего пути из Москвы в Японию были не в двадцать четыре, а в двадцать три часа. Астрономы знают, что так получалось благодаря вращению земли: мне казалось возможным острить, что сутки сокращаются не механикой астрономии, а тем, что я еду к корню солнца.

Есть такое утверждение, что человеческие культуры в своих путях переходят в цивилизации,— что, подобно биологическим организмам, организмы человеческих культур, рождаясь, молодеют, мужествуют



и затем умирают. Это утверждение говорит, что Земной Шар сейчас переживает эпоху заката, эпоху умирания европейской культуры, осклерозившейся цивилизацией. Диалектический марксизм не любит пестрых слов, и он подтвердит это будничной статистикой. Прогноз величайших катаклизмов строится никак не на идеалистических теориях, — но на реальнейшем соотношении экономических сил, на той скучной науке, которая называется экономикой и которая черным по белому указывает на многие страшные для Европы вещи, например, на то, что центр капиталистической культуры и мощи покинул Европу, — пока поселился в Америке, — неизвестно, где и при каких условиях окажется через двадцать лет, — но известно, что в Европу при нынешних делах не вернется, и Европа, как завод без сырья и сбыта фабрикатов, задыхается. [ти годы — двадцать второй, двадцать третий, двадцать пятый — я бродил по Европе. Я ходил по ней и по горизонталям ее — от Лондона до Берлина, от Берлина до Афин, Яффы и Константинополя, — и по вертикалям — от крестьянских и рабочих домиков до кабинетов парламентских и министерских деятелей, до кабинетов европейских писателей и ученых, — и я знаю, что в Европе не благополучно. Неблагополучно потому, что не дымят заводы и падают всяческие франки, потому, что тысячи голодающих безработных толпятся около профессиональных контор. Неблагополучно потому, что Запад замирает не только заводами, но и еще неким, что трудно передать словами: тем, что европейские индивидуальности стали походить на их соборы, построенные из известняка, тем, что во всяческие тупики залезает европейская духовная культура, вырождаются литература, театр, музыка, — тем, что Запад казался мне все время огромным ледником, древним ледником столетий, из-под которого чело-



веческие индивидуальности, еще не осклерозившиеся, рекою бегут в революции, а ручейками — в Америку, в Аргентину, в Индию, в Китай. Мне это было особенно видно, потому что я есмь сын страны, которая исторически не есть ни Европа ни Азия, — отъезжее поле, воспринявшее в себе и европейскую и азиатскую культуры.

И известняки Европы обратили мои глаза на Восток.

И мой взор остановился на Японии, на корне солнца, ибо большою задачей казалось мне увидеть то новое солнце, которое поднимается с Японии, с этой единственной не поработанной белым человеком цветной нации, живущей на вулканах...

Впрочем, надо подробно.

Япония — племянница ассирийской и египетской цивилизаций. Осенью девятьсот двадцать пятого года я бродил там, в развалинах Анатолии и Палестины. Там только камень да пыль, да солнце, сжигающее все. Там даже камни не помнят о том величии цивилизаций, которые были здесь когда-то. Там пустыня, зной и умирание, — там даже не сохранились развалины. — Ассирийская и египетская цивилизации породили греко-римскую. Я был в Афинах. Там только камни говорят о прошлом эллинов, камни мрамора, выжженные солнцем дожелта, — но люди там уже не помнят отошедшего тысячелетия, торгуя правительствами и маслинами. — Древняя греческая культура, совместно с римской, породила европейскую. Есть утверждение, что и эта последняя — капиталистическая — идет к смерти, — что недолог тот срок, когда в Европе, так же как в Анатолии и в Афинах, только камни да археологи будут помнить о черчилевской Европе.

Но за десятком тысяч километров на восток от Европы жила и живет страна, сверстница прабабки



европейской цивилизации, той цивилизации, которая дохозяйничивает всем Земным Шаром. И теории Шпенглера — рушатся, — рушатся потому, что никому из европейцев неизвестная страна, лежащая на островах, не остывших еще от вулканической деятельности земли, страна, знающая в своей истории национально-монастырское затворничество на два столетия, как раз те, которые дали мощь Европе, — страна, которая, казалось бы, окончательно обьизвестняковилась и, по Шпенглеру, умерла, — вдруг, неожиданно для мира, каких-нибудь шестьдесят лет тому назад бывшая в феодальном затворе, — вышла на мировую арену молодой, здоровой, сильной, бодрой, организованнейшей державой, — неожиданно для мира в каких-нибудь тридцать лет стала великой державой в том смысле этого слова, как его понимают европейцы, — европейски-великой державой. Тысячелетний быт, создавший свою особливую ото всех народов мораль, этику, эстетику, не оказался препятствием для западно-европейской конституции заводов, машин и пушек — и всего, что стоит за ними.

Большая цель — узнать, какою мудростью сочетались в японском народе старое и новое, как примирились они, почему, — какой корень солнца у этой страны.

... И еще. В феврале, когда я уезжал из России, всем моим путем лежали белые снега, глубокие пласты белого снега, — а золотая в солнце и синяя в море Япония встретила нас созревающими апельсинами в зелени апельсиновых рощиц и белым цветом сливы. Полуденный час в Японии совпадает с третьим московским часом ночи, тем по библейскому преданию, когда не пели еще вторые петухи. Утомительно гоняться за луною и обгонять ее, — утомительно так быстро, как Великим Сибирским путем



сматывать версты с запада на восток: часы показывают двенадцать дня, а на улице уже ночь, — а, если часы все время ставить по бегущим мимо стационарным часам, то часы показывают пять вечера, а тебя всяческими свинцами клонит в сон, в двенадцать же ночи ты просыпаешься, точно это час дня. Ты стремишься на восток, луна уходит на запад, — и странно наблюдать, как ты съедаешь луну.

Разные могут быть цели бродяжеств. Существеннейшие из них — вот, две. Про первую уже сказано: узнать, какой корень солнца у этой страны, у этих стран. И еще вторая. Человеческий мозг, человеческие знания и тот мир, который раньше назывался духовным, а ныне на русском языке определяется только иностранными словами, — человеческий мозговой, духовный и душевный мир, чтобы не ржаветь, очень нуждается в том, чтобы его точили, как бритву: тогда он, не в пример бритве, делается мягче, точнее, правильней. И очень хорошими оселками для бритвы мозга, глаз и раздумий (тех, когда думаешь уже не мозгом, а, быть — может, иероглифами) — есть путешествия в пространства, никак не менее значимые, чем путешествия в книги и во время истории. Не для Японии, а для себя я поехал в Японию, взяв ее за тот оселок, на котором хотел я поточить самого себя, — в пространствах, глазами, раздумьем, — на том обрыве, где Азия вулканами Японского архипелага обрывается в Великий океан, в том рве, где сшиваются две величайшие культуры, все предопределяющие культуры Земного Шара — восточная и западная, — где западная культура прет и с востока, с Америки, а восточная, рассыпаясь в песках пустыни Шамо, обрывается в Тихий океан.

Учиться — по-японски — обдумывать старину.



### 3. ЯПОНИЯ — ДЛЯ МЕНЯ

... Там на шве двух культур, на обрыве, которым — вулканами — обрывается Старый Материк в Великий океан, — за несколько дней до моего отъезда из Японии — была такая ночь. Нас было пятеро: Ольга Сергеевна, замнаркомпутъ Серебряков со своим секретарем Шубом, я и чиновник японского министерства железных дорог Яманака-сан. Днем мы уставали, железной дорогой, автомобилем: к тому, чтобы приехать в Атами, к минеральным источникам, на курорт, поместившийся под горою у самого берега океана, у самых волн. В отеле было пусто, кроме нас японствовала семья японцев. В сумерки мы ходили в минеральные ванны, фотографировались, обедали. Вечером мы ходили в соседний городок, бродили по улочкам, покупали кисточки, которыми пишут. Оттуда порешили пойти берегом моря, вошли во мрак деревьев, в каменистые тропинки, повисшие над обрывами, в заборчики из кротегусов, в шум океана над обрывами. Так мы шли с час. Становилось все темнее, глуше, отвесней, тесней и каменистей, — океан внизу уже не шумел. Сначала мы подозревали, а потом стало ясно, что мы заблудились. Все же мы шли камнями тропинки. И впереди тогда мы увидали огонек, в густой чаще деревьев. Мы подошли к лесному домику. Яманака-сан утвердил, что мы заблудились, поднявшись в горы, к леснику. Лесник дал нам бумажный фонарик на палке, новую указал тропинку, — и еще добрых часа два мы шли до нашего отеля. Отель глубоко спал. Мы были утомлены самой настоящей усталостью, той, от которой надо сейчас же валиться в сон, и, если не свалишься, можно будет еще часы сидеть, за счет уже нервов. Нам выпало второе. Шуб



и Яманака-сан заснули. Мы же втроем засели у меня в номере. На столе стояли незнакомые, очень пахучие цветы (от которых на другой день у меня болела голова). Была очень черная и тихая ночь. Во мраке ворчал океан. Цепь огней железной дороги уходила в горы. Было очень тихо. И мы, трое россиян, на берегу чужого моря, в чужой стране, среди непонятных людей — были той ночью одни-одинешеньки, мы устали самой будничной усталостью, нам было немного скучно, и нам не хотелось спать в этот полночный час. Все в мире относительно и все правомочно. И тогда мы выдумали игру. Мы взяли почтовую бумагу и стали писать письма так, чтобы я, написавший, передал мое письмо соседу, который, не читая его, надписывал адрес на конверте. Потом, написав десяток таких писем, положенных уже в конверты, мы прочитали их. Одно из моих писем пошло в город Тетюши, заведующей школой второй ступени, которую я никогда не знал, которую никогда не узнаю и которой, быть — может, и нет совсем, ибо в Тетюшах не заведующая, а заведующий. Я писал:

«Брат мой.

«Я сижу сейчас в провинциальном отделе на берегу Тихого океана, который плещется за окном, — в Японии, в глубокой полночи. Мне скучно, тихо и одиноковато. И одно я хочу сказать сейчас, далекий мой, неизвестный брат, — то, что все на этом свете относительно, что и мне сейчас надо ложиться спать и хочется есть, как это делается с каждым человеком.

«Привет тебе, брат мой, от Страны Корней Солнца, — а мне: покоя и доброго сна».

Очень дурманно пахнули незнакомые цветы. У меня в ту ночь было такое настроение, которого



в жизни нормальной у меня не бывает, которое в детстве возникало у меня при чтении английских романов, при описании английских сочельников, — хоть и была за домом майская ночь и ворчал теплый океан... Как велик Мир! — как древен Мир! — и — как мал и молод Мир... все относительно, все правомочно и — все проходит. Все проходит, потому что вот о той ночи в Атами я пишу уже в Москве, в дни первых наших метелей, когда за окном падают белые снега. Тогда же, в Атами, совершенно невыспавшиеся, ехали мы на утро, туристами, в Одавара, чтобы там пересесть на автомобиль и ехать к озеру Хаконэ, около которого я уже был.

. . . . .  
Одна из редакций японских журналов просила меня написать им, какой роман я написал бы, если бы я был японцем. — Я долго не мог собрать своих мыслей, чтобы написать об этом.

Прежде, чем стать японским писателем, то-есть человеком, мыслящим образами и творящим образы, — я должен был бы стать японцем. Я — японец — должен был бы познать быт, философию, науку и историю Японии, — и я должен был бы установить свою точку зрения на искусство литературы, которых может быть множество. Я — Пильняк — в дни моего пребывания в Японии растерял очень многие мои точки зрения, в частности на искусство, в частности на литературу, — ибо у меня была точка зрения европейца, когда я думал, что искусство литературы существует к тому, чтобы формировать человеческие эмоции путем отображения жизни подлинной и исторической, в худшем случае — такой, которой нет, но которая может быть: то искусство, которое я увидел на Востоке, мне указывает — во-первых, что все в этом мире правомочно, а, во-вторых, на то, что



в этой правомочности нет никаких причин отдавать предпочтение искусству европейскому перед искусством Востока. Они, искусства Востока и Запада, равнозначимы и равнопрекрасны: цели их одни и те же, пусть средства разны, — средства, ибо европейское искусство упирается во время и с историей времени старится, стремясь гулять в ногу с эпохами, — ибо искусство Востока отказалось от времени, стало над временем, построенное на условностях красоты, высоких чувств и красоты. В этом месте я потерял свою точку зрения на искусство литературы.

Если бы тот мифический писатель, который получился бы в Японии из меня, имел понятие о литературе, как о прикладном искусстве, предназначенном руководить общественной и интимной жизнью людей, как очень часто понимается искусство литературы на Западе и у нас в России, — он написал бы роман, реалистический, натуралистический, где восхвалялась бы или порицалась бы деятельность Сейюкай, японской партии, описан был бы прием у мининдела и на заводском дворе, описаны были бы семьи крестьян, рабочих, интеллигентов, железные дороги, пароходные компании, фабрики; все это переплеталось бы очень сложной и остроумной завязкой, фабулой, сюжетом... и — все это было бы очень скучно, разумно и нравоучительно. Такой роман, если бы он был понятен европейской психологии, сейчас же перевели бы в Англии, Америке и России: но его перевели бы не потому, что он есть художественное достижение, а к тому, чтобы ознакомиться с бытом Японии, и через десять лет, в справочниках о Японии сказано было бы, что роман этот, как информационный, устарел.

Если бы этот мифический писатель смотрел на искусство литературы глазами Востока, — он, этот писатель, написал бы роман, где главным героем



был бы дух Фудзи-сана, дух извечной красоты. В этом романе этот писатель постарался бы изобразить людей, приблизительно, такими, какими они представлены в Осацком Кукольном Театре, — прекрасными и неживыми. В этом романе было бы много прекрасных пейзажей, много пагод, цветов, солнца и луны. В этом романе сюжет был бы приторен, как мед, фабула чопорна, как поклоны гейш, а развязка сладостна, как японский фрукт каки. Такой роман трудно было бы перевести на европейский, ибо он был бы непонятен европейской психологии.

И еще десятки можно было бы придумать сюжетов этого фантасмогорического романа, который написал бы несуществующий фантасмагорический японский писатель Пильняк.

... Я — Пильняк, если бы я был японцем, мне думается, захотел бы написать тот роман, который в действительности я хочу написать, о том, как мои мозги были бритвою на оселке Востока. — Люди Земного Шара сейчас переживают эпоху, когда в мировом хозяйстве, в науке и искусстве стираются национальные черты и границы, — и мне хочется подняться над границами моей нации, мне хочется написать книгу, которая была бы нужной не только у меня на родине, но и в Японии, и в Америке, и в Бразилии, и не только философу, но и коммивояжеру. Эту книгу я окутаю бодростью того, что ничто в этом мире не абсолютно — от человеческой жизни до точек зрения на искусство, все течет, все проходит, все правомочно: это ощущение дал мне Восток. В этой книге я расскажу, как мир — в это столетие его развития — связан между собою, как не только пароходы бороздят океаны, но, подобно пароходам, по миру идут идеи дружества и братства народов, идеи уважения человека и человеческого труда.



И эту книгу я посвящу бодрости труда, бодрости шума гэта, бодрости воли, — бодрости того шума гэта, который прокопал дороги в горах, охолил горы, взрыл руками поля для риса. В этой книге я расскажу о том, что тот народ, живущий на вулканах, есть удивительнейший народ.

.. Эту книгу хочу написать я — неяпонец. Но, если бы я был японцем, мне думается, я написал бы эту же книгу.

29 окт. 926 г.

Москва.

Поварская, 26,8.

---



**Р. КИМ**

**НОГИ К ЗМЕЕ**

**(ГЛОССЫ)**







## ПРЕДИСЛОВИЕ

«О сын мой! Пусть легка  
будет беседа твоя для слушающего...»

(Мудрость сеннахерибского  
визиря Хикара).

«Ноги к змее» — по-китайски шэ-цзу, по-японски да-соку, выражение из китайской книги «Чаньгоцэ», согласно объяснению, данному в большом японском иероглифическом словаре «Дзигэн» («Источник Знаков»), значит: нарисовав змею, приделывать к ней ноги, то-есть делать ненужную излишнюю работу, ибо змея, а тем более нарисованная, может существовать без ног; книга Б. Пильняка «Корни Японского Солнца» может существовать без моих комментариев, и их можно не читать, мои страницы. Автору основной части казалось, что некоторые его абзацы, будучи понятны самим японцам, которые в первую очередь прочтут эту книгу, и русским, хотя бы отдаленно причастным к ориентологии, будучи понятны этим, останутся не совсем ясными для людей, знающих о Японии почти столько же, сколько о юго-западной Атлантиде. Для последних и сделаны мной несколько комментариев-глосс, скромная цель которых дополнить, разъяснить, развить некоторые места основной части книги. На объективность не претендую, ибо корейцу так же как и ирландцу, трудно быть непогрешимо объективным, когда речь идет о соседних островитянах — покорителях.

«Ноги к змее» посвящаю высокому коллеге, проф. В. А. Гурко-Кряжину.

Москва, 1 декабря 16 года Корейской Диаспоры.



## I. ВЕЛИКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 1923 ГОДА

(К главе «Вулканы»)

... я всегда торжественно  
думал о космосе, не застыв-  
шем еще для этих островов.  
(Из главы «Вулканы».)

Есть классическая японская поговорка, состоящая из четырех имен существительных: «Землетрясение-гром-пожар-отец». Она перечисляет квадригу наиболее грозных для японца явлений, расположенных в нисходящей градации. После землетрясения 1923 года японские социалисты, в чьих рядах вместе с катастрофой большое опустошение произвели жандармы и полицейские, пустили в обращение новую поговорку: «дзисин-кэмпэй-кадзи-дзюнса», что значит: «землетрясение-жандарм-пожар-полицейский». В обоих случаях на первом месте по грозности стоит землетрясение.

Великое землетрясение 1923 года избрало своими жертвами пять восточных префектур во главе с токийской. В 11 часов 58 минут утра 1 сентября 1923 года земля в этих пяти префектурах внезапно прыгнула вверх на четыре вершка, а через несколько минут на побережье Камакуры, Дзуси, Кодзу, с грохотом, потрясшим все небо, хлынул вал с Тихого океана, зеленая водяная стена в несколько сажен вышиной. Земля стала извиваться и прыгать, как



одержимая, — с двенадцати часов дня 1 сентября до двенадцати дня 2 сентября сейсмологами было насчитано восемьсот пятьдесят шесть толчков, а со 2 по 3 сентября — двести восемьдесят девять судорог. После первых толчков в городах во главе с Токио и Иокохама запылали пожары, и жители этих городов очутились лицом к лицу с двумя обезумевшими стихиями, а жители прибрежной полосы восточных провинций — с тремя. В Токио сгорело заживо 56 774 человека, утонуло в каналах, реках и прудах 11 222 чел. и было раздавлено домами 3 608 человек. Этот бунт стихий испепелил, по авторитетным выкладкам московского проф. О. В. Плетнера, двадцатую часть всего национального богатства Японии и нанес ей оглушающий удар. Многие в Европе и Америке решили, что Япония получила почти смертельный «кпоск», после которого она, в лучшем случае, станет второклассным государством. Но Япония, подобно крепко-вытреннированному боксеру, невзначай получившему удар в челюсть, немного покружилась, посидела 9 секунд на полу ринга и после этого к удивлению всех быстро встала на ноги.

---

## II. АКИТА УДЗЯКУ

(К 25 стр.)

У японцев, как и у китайцев и корейцев, псевдонимизуется только имя, фамилия — нет. Акита это — фамилия; настоящее имя драматурга — Токудзо. Псевдоним Удзяку значит: «Воробышек во время дождя». Удзяку родился в 1883 году, кончил отделение английской литературы Васэдаского Университета. Автор ряда великолепных детских сказок, — особенно хорош сборник «Детям Востока», — один из лучших драматургов, но его вещи, имеющие сильный



пролет-литературный уклон, редко ставятся в больших театрах. В последние годы стал писать в экспрессионистском духе — лапидарный диалог, стремительное сюжетное развертывание. Видный представитель японских левых попутчиков; убежденный эсперантист, но пока-что все вещи пишет по-японски, только даты и подписи — на эсперанто. Кстати, его драмы сейчас переводятся на русский язык молодой многообещающей японоведкой Е. Крейцер, ученицей проф. Н. И. Конрада.

### III. ТРИ ВЫПИСКИ ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

(К главе «Две души принципов „наоборот“»)

1) Из толкового словаря японского языка «Гэн-кай» профессора Оцуки (изд-во «Йосикава-Кобункан», Токио, 1922 г., 473 издание):

— «Синоби (ниндзюцу, дзиндзюцу) — искусство, сделавшись совершенно невидимым ночью, незаметно проникать в неприятельский лагерь или в чужой дом; замаскировавшись, проникать на неприятельскую территорию и заниматься тайной разведкой».

2) Из биографии великого вора-покровителя бедных, Нэдзумикодзо Дзирокити, казнённого в 1832 году (изд-во «Хакубункан», Токио, 1922 г., 18 издание):

— «Строго, соблюдая церемонии, Киритаро обучил Дзирокити магическому искусству пяти способов делать себя невидимым; это искусство — ниндзюцу — теперь заметно поколеблено благодаря развитию точных наук, но все же до сих пор применяется; в прежние времена в периоды войны усиленно пользовались лицами, знавшими искусство это».

3) Из книги В. Латынина «Современный шпионаж и борьба с ним» (Гос. Воен. Изд-во, Москва, 1925 г.):



— «Задолго до русско-японской войны японцы широко развили шпионаж не только на Дальнем Востоке, но и в Европейской России. Во Владивостоке, Хабаровске, Харбине, Порт-Артуре многие рестораны, гостиницы, магазины и торговые конторы были переполнены японскими шпионами под видом прислуги. Русским и в голову не приходило, какая огромная паутина японского шпионажа окутала их везде на Дальнем Востоке. Мы не могли представить себе, чтобы японские офицеры генерального штаба лично работали в качестве шпионов под видом парикмахеров, приказчиков и даже домашней прислуги у русских генералов».

Рекомендую прочитать еще следующие статьи и книги, дающие понятие об основных принципах синоби: Mabile «La lutte contre les services des renseignements ennemis» («Revue Militaire Française» I/X—1923); F. Touchy «Taemnice spiegotwa podczas wojny swiatowej». Момокава Энгйоку «Похождения великого разбойника, друга бедноты Дзирайя» (на японском языке).

#### IV. О БУСИДО

(К главе «Харакири»)

(Стенограмма лекции, которая никогда не была и не будет прочитана).

Одни живут, будучи мертвецами; другие, умерев, живут.  
Проф. Кодэ Нарюки. «О радости и наслаждении».

Товарищи!

Два принципа кардинальных, всеопределяющих, лежат в основе бусидо-этики японских самураев, которых классовое господство длилось с XII по XIX век, начавшись с выхода на сцену кланов Таира и Мина-



мото и завершившись самурайской Вандеей — трагическим мятежом генерала Сайго в 1877 г.; два основоположных принципа суть беззаветнейшая преданность господину своему, т.-е. чувство великого долга перед сюзереном и вытекающее отсюда неумолимое последовательное до конца презрение к смерти, торжественный отказ от всякого страха перед небытием; эти два принципа — наивысшего долга и величавого пренебрежения к смерти, эти опорные колонны самурайской идеологии с неустанным рвением и тщанием укреплялись и полировались в течение семи феодальных столетий, и что удивительного, если эти колонные принципы были доведены до небывалой прочности и слепящего блеска и вызвали шумное изумление европейян, в XIX веке вторично открывших Японию; что удивительного, если в течение семи веков изо дня в день, из часа в час представители правящего класса словом и делом демонстрировали свое неистощимое презрение к смерти, измыывались над ней, как над последней девкой из Кандаских лупанарных бань, и напряженной волевой гимнастикой вытравляли дочиста из своих душ всякий страх перед призраком безносой; к этим двум принципам-доминантам неразрывно примыкает третий, заключающийся в доведенном до пределов стоицизма, непроницаемой охране своей души от чужого взора, замуровывании всех своих чувств под неподвижной маской лица, ибо преданный самурай, готовый в любой момент швырнуть свою жизнь без сожаления, как лопнувшую сандалию, к ногам владыки, должен переносить молча все лишения и никогда не выказывать наружу презренных судорог души. Вот эти три принципа составляют сокровенное нутро бусидо, его сердце, на которое в последующие столетия токугавскими профессорами было наложено несколько толстых слоев конфуцианского лака, превратившего



жизненные правила диких воинственных хэйанских<sup>1</sup> (кантонских) и камакурских самураев-дружинников<sup>2</sup> в благообразный чинный чиновничий кодекс морали, во всем согласованный с округленными китайскими философемами. О нормах повседневного поведения первых самураев, о том, как они были крепко преданы своим господам, и о том, как они весело умирали, нам рассказывают в величавых гомеровских тонах «гункимоно» — военные хроники Камакурских времен, эти японские *chansons de geste*. Главнейший атрибут бусидо — сэппуку или харакири, т. е. вспарывание живота, совершаемое в случае поражения в бою, компрометантного поступка, смерти сюзерена или в качестве довода действием для образумления заблуждающегося господина. Это великое японское изобретение появилось в конце Хэйанских веков, и самое раннее упоминание о нем мы находим в историческом труде «Дзокукодзидан», где повествуется о том, как некий «Фудзивара Ясусуке вынул меч, распорол живот и вытащил кишки»; последняя манипуляция была «канонизована» и до середины XIV века самураи, очутившись во время боя в безисходном положении, разрезали живот и изо всех сил швырялись своими кишками, стараясь для вящего удовольствия попасть во вражеские лица; процедура совершения харакири в последующие века была нормирована, регламентирована, стандартизована, и только некоторые артистические натуры и изобретательные умы позволяли себе кое-какие эффектные отступления; обычно же харакири совершалось так: вонзали кинжал в левый бок, проводили горизонтальную линию по всему животу, затем прокалывали полость сердца и вели нож до пупка, — в боль-

<sup>1</sup> Эпоха Хэйан (IX—XII).

<sup>2</sup> Эпоха Какура (XII—XIV).



шинстве случаев здесь наступал финал, но некоторые, не удовлетворившись всем этим, вгоняли кинжал в горло; в XVIII веке сьогунскими церемониймейстерами был сочинен торжественный ритуал, при чем в харакирное действо был введен так называемый «Кайсяку» — ассистент, коему поручалось в момент первых судорог четким взмахом сносить голову самоубийцы. Дикое, пахнущее кровью, вспоенное пьяным молоком фанатизма, бусидо в его неcodифицированном незалакированном виде существовало до XVII века, т.-е. до воцарения династии военных монархов Токугава, положивших конец нескончаемым феодальным войнам, что свирепствовали в течение трех веков; но эти первые десятилетия новой эпохи были отмечены рядом великолепных проявлений живописных демонстраций воинствующего бусидо, из коих следует прежде всего назвать «харакири вдогонку» — оибара и действенную проповедь самурайского стоицизма; дело в том, что с начала этого века в кругах ответственных вассалов стал культивироваться обычай после кончины своих даймёо распарывать себе живот, чтобы следовать за сеньором; классическими случаями должны считаться групповые харакири вассалов нагойского даймёо Мацудаира в 1607 году, советников Этидзэнского Хидэясу в том же году и в особенности то самопобоище, что разыгралось после кончины третьего сьогуна в 1651 году, когда ряд высших самураев-министров во главе с Абэ и Утида совершили харакири, а за ними в свою очередь последовали их вассалы, образовав жуткую пирамиду. Между прочим сугубо характерно, что родоначальник Токугавской династии — Иэясу не причислил себя к апологетам «оибара» и, когда этидзенские вассалы пустились «вдогонку» с разодранными животами, он опубликовал осуждающую буллу со словами: «умирать легко, жить трудней», предвосхитив этим



самым лефовского даймьо Маяковского, сказавшего после одной смерти: «в этой жизни помереть не трудно, — сделать жизнь значительно трудней»; эта эпидемия «оибара» продолжалась до второй половины XVII века, пока правительство не запретило наистрожайше эти окровавленные кортежи на тот свет. Что же касается до активного стоицизма, то он заключался в том, что самурайские золотые молодчики — датэсю, желая довести до недостижимой высоты свою волевою закалку, испытывали себя таким образом: непоспешными стопами фланировали по зимним улицам в одном тонком халатике, обмахиваясь большими веерами; в июльский зной, взвалив на себя тяжелые кимоно, подбитые ватой, грелись у жаровни; устраивали экстравагантные трапезы, на которых, с непроницаемыми безмятежными лицами-масками, зорко послеживая друг за другом, ели терпкий суп из сороконожек, форшмак из соленых дождевых червей и нестерпимо жирную похлебку из кротов и жаб; поистине, прошедших эти необычайные курсы терпения и готовности ко всему, ничто больше не могло и не должно было смущать. Но жизнь брала свое: феодальных войн не было, кругом ненарушимо властвовал мир, и все стали понемногу тяготиться этим нейстово-диким неукротимым бусидо. Как хорошо было бы обуздать его, остричь его и сделать сводом жизненных правил не воинов головорезов, нет, а вернооданных чиновников великого сйогуна. И вот появляется услужливая фаланга казенных конфуцианских ученых, — все эти Накаэ Тодзю, Кумадзава Бандзан, Даидодзи Юсэи и другие, усилиями коих бусидо был превращен в стройный кодекс норм поведения, имеющий в своей основе конфуцианские принципы безграничной верности государю, почитания родителей и осуждения безрассудного мужества; философы Накаэ и Каибара говорят, что самурай



должен быть прежде всего гуманным мужем и должен знать заповеди Конфуция, а Токугава Нариаки, глава митосской школы в книге «Кокусихэн», вышедшей в 1833 г., резюмируя всю проведенную работу по кодификации бусидо, предписывает самураям следующее: избегать вульгарного мужества (*sic!*), заботиться о внешнем облике, читать творения древних, ходить на охоту, ездить верхом на коне по берегу моря и играть на флейте в лунную ночь; если бы этот мудрец был знаком с европейской культурой, он, вне всякого сомнения, рекомендовал бы самураям играть в серсо, раскладывать пасьянс и конспектировать Четы-Миней. Конфуцианским профессорам удалось в известной степени приглушить, укротить и обуздать тезисы бусидо, но кардинальные принципы чувства долга и презрения к смерти были сохранены в непоколебимой целостности. Правда, первый принцип, который был наиактуальнейшим, непрерывно испытываемым в эпоху ежедневных феодальных войн, утратил в эпоху мира свое значение, превратившись в простую максимум чиновничьей морали, в заповедь, ничем не вуалируемого, сервизма. Но второй принцип, принцип игнорирования смерти, беспощадного пренебрежения к ней, был торжественно пронесен через все токугавские века <sup>1</sup>, породив вереницу классических харакири, вендет-актов кровной мести, отобразившихся на лучших страницах японской повествовательной драматической литературы. Японские танкаслатели слово «сакура» — вишня единогласно возвели в символ самурая, самурайской души, ибо вишневые цветы, после пышного расцвета, сразу же, без остатка, осыпаются в течение одной ночи, подобно самураю, без тени сожаления совершающего акт самоумерщвления. Самурайский класс, сотворивший

---

<sup>1</sup> Токугавская эпоха—XVII—XIX вв.



бусидо, сошел со страниц истории во второй половине XIX века, но новое императорское правительство, отняв у самураев мечи и разметав их, решило использовать идеологическое наследие их, неизгладимо врезавшееся в сознание японского народа, и приступило к шумной пропаганде тех же только слегка измененных двух основоположных принципов: преданности сюзерену, теперь — императору, и готовности в любой миг принять смерть ради сюзерена, теперь — императора; о том, что гос-апология модернизованного бусидо была успешной, гордо свидетельствуют восторженные слова профессора Нитобэ Инадзо: «Сражение на Ялу, в Корее и Маньчжурии выиграли духи наших отцов, водившие нашими руками и бившиеся в наших сердцах. Они не умерли эти духи — души наших воинственных предков». Прав токийский магистр, справедлив его восторг, поистине бусидо — моральный кодекс средневековых вассалов, неистовых полуварваров, стоических фанатиков в течение нескольких последних десятилетий комментарской изобретательностью был превращен в Коран воинствующего монархизма и патриотизма, в религиозно-этическую систему японских казарм. И вот теперь, оглянув всю историю самурайской морали, если вы захотите взять наиболее высокие моменты, наиболее патетические абзацы летописи бусидо, наикласснейшие примеры, то это будут: «харакири вдогонку» кавалера второй степени Великого Чина, Маршала графа Ноги и история заговора и смерти сорока семи самураев. Первая повесть о самоубийце-маршале вас изумит на несколько минут, но вряд ли это чувство удивления приведет вас к глубоко благоговейному безоговорочному пиэкету; скорее всего у вас мелькнет мысль о том, что в груди этого хмурого полководца начала XX столетия, генерала, разгромившего порт-артурские форты одиннадцатидюймо-



выми мортирами, билось сердце крошечного фанатика начала XVII века, того самого, который умирал вслед за своим даймё, повелев своей жене или любимой наложнице и вассалам сопровождать его; скорее всего вы вспомните желтые листы фолианта первых токугавских лет «Мэйрю-Кохан» — Книгу Ясности, в коей убедительно говорится об одной разновидности харакири, о так называемом «сьобара», т.-е. «харакири de raison», рассчитанном на эффект и на последующую славу. Но было о сорока семи самураях, о которых сказал Б. Пильняк, справедливо требует от вас более длительного внимания; поэтому расскажем о них более тщательно. Эти сорок семь во главе с Оиси Кураносукэ, после того, как их сюзерену по сьогунскому повелению пришлось покончить с собой из-за даймё Кира Кодзукэ, — дали друг другу кровную клятву во что бы то ни стало стереть с лица земли этого сиятельного негодяя; они рассеялись во все стороны, превратились в бродяг, разносчиков, торговцев, поэтов, мелких ремесленников и т. д., непрерывно держа тайную связь и шаг за шагом окружая невидимой сетью находившийся в Эдо дворец-крепость их могущественного врага, который, будучи окружен лесом своих телохранителей и шпионов, ни на одну секунду не ослаблял своей бдительности; только вождь заговорщиков Оиси Кураносукэ, увидев плотное кольцо вражьих шпииков, сразу же отчаялся, махнул рукой на заговор, вытолкнул из дома плачущую, с двумя детьми, жену, с которой прожил десятки ничем не омраченных лет, сменил строгое одеяние сановного самурая на легкомысленный узорчатый шелковый халат и с головой погрузился в жизнь развратного бонвивана; его пьяную, зловонно икающую, фигуру стали ежедневно видеть на верандах киотоских веселых домов и в канавах, куда он сваливался в бесчувствии; люди, знавшие его, все



отвернулись от презренного гнуса, смрадного ренегата, и, когда он валялся на улице, распахнув дорогой с цветистыми узорами халат, некоторые плевали на него, швыряли в него комья грязи и даже били деревянными сандалиями по лицу; он, который раньше был одним из главных приближенных даймё, вождь заговорщиков, забыл решительно все: забыл клятву, зачинщиком которой был сам; забыл тех, которые ждали его знака, стиснув зубы от нетерпения; забыл самурайскую честь, все наставления своего учителя, философа Ямага (которым два века спустя будет зачитываться генерал Ноги), и окончательно перестал быть человеком; шпионы Кира Кодзукэ, следившие за каждым шагом Оиси Кураносукэ, досконально описывавшие историю его необычайного падения в своих донесениях в Эдо, не ожидали такого оборота дела: Оиси Кураносукэ, доселе имевший кристальную репутацию доблестнейшего самурая, мастерски, оказывается, скрывал свою истинную натуру распутника и жалкого труса. И вот прошел год после харакири несчастного даймё и разгона его самураев; о последних ничего не было слышно, и четырнадцатого марта, в день годовщины самоубийства, никто не пришел поклониться могильному камню, — все было тихо, спокойно; шпионы, исписав кипы реляций об Оиси, плюнули и вернулись в Эдо, и эту историю все стали постепенно забывать, ибо, как гласит японская поговорка: «молва про людей длится семьдесят пять дней» — «хито но уваса мо ситидзюгонити»...

В октябре этого года в поселок Камакура, что около Эдо, пришел откуда-то пожилой самурай по имени Какими Горобэй и, пробыв три дня, направился в столицу; там он стал вести непонятную жизнь, кочуя из дома в дом своих знакомых — большею частью мелких торговцев, ремесленников, разносчиков,



поденщиков и просто людей без определенной профессии: повидимому, самурай Какими, несмотря на свои мечи, решил вместе со своими знакомыми заняться недостойным делом — открыть торговое предприятие для обслуживания даймьо и, в первую очередь, господина Кира Кодзукэ, ибо Какими и его компаньоны очень часто говаривали о даймьо Кира, его вкусах и привычках, дворце, званых вечерах там, дворцовой челяди, числе закрытых носилок, в коих ездит даймьо, меняя их каждый раз, о характере привратников, которые иногда не пускают торговцев-поставщиков, и даже о глубине пруда, находящегося в дворцовом саду. Когда наступил декабрь, Какими и его друзья стали собираться чаще и, повидимому, дело выходило, но не хватало чего-то, может-быть, денег, ибо все что-то высчитывали на счетах, корпели над грязными, смятыми чертежами и почтительно выслушивали Какими, который был вообще глубоко образованным человеком, — любил цитировать китайских классиков и писать тушью величавые пейзажи в стиле гениального Сэсю. В холодную снежную ночь 14-го декабря в доме одного из знакомых Какими был устроен скромный ужин, на который собралось сорок семь человек; было сакэ, жареные каштаны, рисовые лепешки и суп из морской капусты — ужин был без всяких изысков, но все собравшиеся были в диковинных нарядах: комната, где все собрались, была похожа на кулисы театра «кабуки», так как все были в боевых самурайских одеяниях, в которые уже в течение ста лет ни один самурай не облачался по причине полного отсутствия войн со времени воцарения Токугавской династии, — войны происходили только на вертящейся сцене и на «дороге цветов»; у всех собравшихся были шлемы, нагрудники, шаровары, цепные пояса и внушительные мечи; после полуночи все, по знаку



Какими, главного зачинщика этого необычайного маскарада, стали выходить из дому, неся с собой, кроме мечей, еще громадные деревянные молоты и копья; выслушав с серьезными лицами наставления вожака, этого угрюмого потешника, все молчаливой гурьбой пошли по пустым снежным эдоским улицам; между прочим Какими был одет почти так же, как и все, но у него преобладали черные строгие цвета, — очевидно, он не любил цветисто-узорчатые одеяния, — только у него на черном рукаве верхнего халата странно выделялась, пришитая одним концом, узкая полоска позолоченного картона, эта полоска свешивалась с рукава, на одной стороне ее было написано иероглифами: «Эры Гэнроку пятнадцатого года<sup>1</sup> двенадцатой луны четырнадцатого дня ночью я умер в бою», а на обратной — фамилия: «Оиси Кураносукэ». На следующее утро весь необъятный Эдо был потрясен невероятным событием: под утро в усадьбу даймёо Кира Кодзукэ ворвались сорок семь самураев, которые, перебив всю дворцовую охрану и разыскав, где-то на задворках, трясущегося хозяина, отрубили ему голову; сьогунское правительство, ошеломленное не меньше эдоских обывателей, приговорило эту банду самураев, осмелившихся посередине великой сьогунской столицы разгромить дворец и обезглавить одного из влиятельнейших даймёо, к смерти через харакири. Все умерли четвертого февраля 1704 года. Вот в грубых штрихах вся история сорока семи. Когда мы говорим о бусидо в его феодалистическом и сегодняшнем банзай-патриотическом аспектах, взор невольно останавливается на выпуклых-одиозных очертаниях и не хочет идти дальше вглубь, сквозь наружную, густо наляпанную, лакировку; но не следует с торопливым нетерпением делать сокрушительный вывод — иссту-

---

<sup>1</sup> 1703.



пленно пускать подобно Б. Зильперту чугунные стрелы в заведомый призрак; можно непримиримо и решительно отвергать бусидо за его внешний облик, отвратную конфигурацию, но неужели же в нем, питавшем в течение столетий один из культурнейших народов мира, нет ничего, ничего, что могло бы быть нами, неяпонцами, — корейцами, китайцами, русскими, европейцами, — принято, хотя бы с кое-какими осторожными оговорками, или, может-быть, даже сочувственно оправдано? На это отвечаем: есть. Для этого надо взять те два основоположных принципа самурайской морали, выхватить их из контекста феодальной эпохи, освободить их от кожуры классовых атрибутов самурайства и отчетливо отделить от казенно-казарменного культа сына неба; и вот тогда эти два принципа, взятые вне времени, предельно абстрагированные, сведенные к сокровеннейшей сути, будут означать: всепоглощающее чувство долга и радостную готовность пожертвовать собой ради дела всей жизни. И сорок семь самураев начала XVIII века, которые знали это чувство долга и выполнили этот долг целиком без остатка, разве они не достойны искреннего и проникновенного сочувствия? Сорок семь человек, нерасторжимо связавших друг друга братской клятвой; безукоризненно проводших с начала до конца изумительную конспирацию в сплошь шпионском Эдо; сокрушивших все заставы бдительности сиятельного врага; не дрогнувших ни разу с первой минуты заговора до последней секунды жизни; давших незабываемый пример монолитно спаянного коллектива; доведших дело всей своей жизни до испепеляющего конца!

---



## V. НОБОРИ СЬОМУ

(К 32 стр.)

Сьому — псевдоним: «Рассветный сон». Родился в 1878 г. Один из лучших переводчиков Тургенева, Толстого, Достоевского, Чехова, Горького, Куприна. В последнее время переводит больше критические работы, в частности сейчас перелагает на японский все опоязовские опусы и «А все-таки вертится» Эренбурга. В 1923 г. в конце лета приезжал в Москву, но пробыв несколько дней, спешно поехал обратно по получении первых телеграмм о гибели Токио, где он оставил всю свою семью.

---

## VI. МУСЯКОДЗИ САНЭАЦУ

(К 36 стр.)

Происходит из старинной аристократической семьи. Глава группы «Сиракаба», объединяющей аристократов-литераторов, выходцев из Лицея. Родился в 1882 г. Пишет драмы, рассказы и так называемые «дзуйхицу» — бессюжетные заметки, диалоги и фельетоны на литературно-философские темы; горячий почитатель Толстого; в 1918 году совместно со своими поклонниками образовал поселок на острове Кюсю «Новую деревню» для действенной проповеди новых принципов жизни, каких — пока не видно. Недавно им написанную драму «Страсть» — история о том, как горбун-художник убивает свою жену, ревнуя ее к своему брату, и запикивает труп в чемодан — японские критики считают шедевром не только японской, но и мировой литературы. Драма неописуемо скучна и представляет собой кошмарный продукт аристократической графомании.

---



## VII. ДВА СЛОВА О ЯПОНСКОЙ СТЫДЛИВОСТИ

(К главе «Йосивара, ойран, гейши»)

У японцев понятие стыдливости, конечно, существует, но оно отлично от европейского. Европейцы любят с улыбкой показывать на японские совместные омовения, на общие уборные и на фаллистические следы, усматривая их даже там, где их нет. Напр., персик, что фигурирует в знаменитой японской сказке о чудо-мальчике, завоевателе острова чертей, по мнению некоторых ученых европейцев, есть не что иное, как кteis. Счастье японцев, что великий Зигмунд до сих пор еще не имел случая познакомиться с книгой Dr. Florenz'a «Japanische Mythologie»; о, если б этот венский Задека стал разоблачать всех японских богов, мифологических героев, то министерству народного просвещения Японии пришлось бы спешно переиздать официально рекомендованные учебники отечественной истории, ибо последние все начинаются с биографии богов и их запутанных походов.

Японцы в ответ на европейские улыбки укоризненно качают головами, смотря на послевоенные европейские танцы, эзоповски пересказывающие акты страсти, или при виде дамских одеяний, с нарочитой тщательностью обтягивающих торсы.

Совместные бани и фализм теперь уходят в историю, благодаря стараниям департамента полиции, этого свирепого блюстителя нравственности на японских островах, который задался целью внедрить в японцев европейское понятие стыдливости. Один преподаватель Ленинградского политехникума написал как-то рассказ «Ловец человеков», действие в коем происходит в Лондоне; увы, это же человековство процветает сейчас в Токио, и занимается им



кто? — полиция. По вечерам в токийских парках иногда устраиваются облавы, после чего всех, извлеченных из кустов, юных мужчин и женщин, не являющихся легальными супругами, торжественно ведут в участки, как пленных эфиопов; пойманных привлекают либо за ярко выраженный адюльтер (грозная статья в Уголовном Кодексе), либо за активное нарушение социальной нравственности. Строго и зорко следит полиция за литературными произведениями, заставляя редакторов зачеркивать все нескромные места и ставить кружки или точки, а в тех случаях, когда редактора бывают недостаточно строгими, — конфисковывая эти издания. На вернисажах выставок больше всех суетятся полицейские комиссары, которые, старательно обнюхав все ню, беспощадно изгоняют фривольные полотна и статуи. Например, на последней осенней выставке Салона (1926 г.) полицейские были шокированы большой статуей Окуни Тэйдзо «Перед океаном», изображавшей голого мужчину, и заставили скульптора соскоблить *genitalia*, после чего испытанные остряки стали именовать эту статую: «Андрогин перед океаном».

Всякий может подумать, что современная японская литература, благодаря такому остервенелому целомудрию полиции, представляет собой безрадостное и постное зрелище, унылый серый луг без единого цветка. Это неверно, это глубокая ошибка. Японские полицейские чиновники не так уж бесчувственны, и они знают, что живому человеку иногда органически необходимо иметь легкое невинно-фривольное чтение. Вот почему беллетристу Танидзаки Дзюнитиро дается возможность довольно часто публиковать новеллы с доскональным описанием сексуальных извращений; вот почему в солидном политико-литературном ежемесячнике «Тюокорон» (соответствует «Красной Нови») помещается длинное рассуждение о лицах,



обладавших аномальными *scrota*, а в литературном журнале «Бунгэй-Сидзё» («Литературный Рынок») рядом с переводами вещей Либединского, Эренбурга и других русских современников, печатается непристойнейший фельетон о приемах *cupilingua* с дословными цитатами из «Кама-Сутры».

Цензура молча проходит мимо таких писаний, она их великодушно не замечает. Японская полицейская стыдливость!

---

### VIII. ЙОНЭКАВА МАСАО

(К 42 стр.)

Профессор Военной Академии Японского Генерального Штаба. Родился в 1891 году. Был в России в 1917 году, но после Октябрьской революции возвратился в Японию, пробыв в командировке всего четыре месяца. Неподражаемо перевел на японский язык «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Войну и Мир», трилогию Мережковского и др. вещи.

---

### IX. К ВОПРОСУ О КУЛЬТЕ ЛИСИЦЫ

(К главе «Вечер на Хиноки-тьо»)

(От комментатора — вынужденное объяснение)

«...разительно в японском народе, по мнению Канэко, отсутствие мистицизма».

(Из главы «Вечер на Хиноки-тьо»).

«Но все же подлинная, народная вера, о которой почти не знают европейцы, ныне здравствующая, идет мимо синто и буддизма».

(Ibidem).

К страницам Б. Пильняка, где говорится о лисьем боге и о философии японского народа, мной был написан большой очерк-комментарий на два печатных листа. Я позволил себе так распространиться потому, что вопросом о лисьем культе



в Японии и вообще о японских суевериях занимаюсь уже восемь лет и готовлю диссертацию, предназначенную к печатанию в журнале Bruno Schindler'a и F. Weller'a «Asia Major» и в органе «Royal Asiatic Society» и потому, что этот вопрос еще очень слабо освещен в европейской японологической литературе — его коснулись весьма поверхностно проф. Chamberlain в своих трудах и авторы статей в «Transactions of Asiatic Society» и несколько слов — вскользь сказал pater G. Schurhammer в своей работе: «Der Shintoismus nach den gedruckten und ungedruckten Berichten der japanischen Iesuitenmissionare des 16 und 17. Jahrhunderts». В японской литературе этот вопрос почти исчерпывающе освещен в трудах токийского профессора Inoue Enryu, выдающегося специалиста по демонологии, и в историко-этнографическом журнале «Minzoku to Rekishi» (августовская книга 1922 г.). В своей работе я подробно описал и классифицировал всех собак-богов (inugami), чудесных змей, водяных отроков (карра), горных духов (tengu), барсуков-оборотней и волшебных лисиц, вера в которых, ввезенная в Нарский и Хэйанский периоды из Китая, до сих пор необычайно распространена в Японии. Каждая провинция имеет своих чародейных монстров, объектов благоговейного поклонения, из коих наибольшей популярностью пользуется лисица. До сих пор в японских провинциях, — в особенности в юго-западной части Хонсю главного острова Японии, — семьи, подозреваемые в связи с колдуньей-лисицей, подвергаются бойкоту не только матримониальному, но и экономическому, ибо у них не покупают и не арендуют земельных участков и стараются вообще не иметь с ними никакого дела. На острове Оки (в Японском море), когда производятся выборы в нижнюю палату, то конкурирующие кандидаты политических партий разделяются на сторонников лисицы и на противников ее. (См. «Meishin to shukyo» проф. Inoue, стр. 74). Вера в лисьи чары имеет в сегодняшней Японии миллионы адептов, и приступающему к изучению японской этнографии необходимо в первую очередь заняться этим вопросом. Рукопись я прочитал нескольким своим коллегам — профессорам-ориентологам, в том числе и проф. Е. Д. Поливанову (о нем говорит В. — кловский в «Сентиментальном путешествии»), коими работа была признана весьма ценной по высоко-достоверному фактическому материалу. За день до того, как сдать рукопись в набор, а копию послать Б. А. Пильняку, я прочитал ее молодому японскому слависту (вернее эсесероведу) г-ну Тораяма, находящемуся в Москве в научной командировке и специально изучающему диалектический материализм и собирающему русские диалектологические



материалы. По прочтении рукописи я, перейдя с г. Тораяма в столовую, заслушал мнение гостя, который, заявив сперва, что в большинстве случаев появление лисиц-оборотней и вселение их в людей основано на самогипнозе, начал затем приводить ряд действительных необъяснимо - таинственных фактов, имеющих место в наши дни на его родине в провинции Идзумо, между прочим им были сообщены весьма интересные данные о несмываемых кровавых пятнах на потолке зала буддийского храма, что около города Мацуэ, о дереве, возле которого появляется белая лиса-оборотень и т. д. После ухода г. Тораяма, желая занести сообщенные им факты в мою работу, я вошел в кабинет, присел к письменному столу и обнаружил бесследное исчезновение папки с рукописью. Тщательный обыск всего стола не дал никаких результатов, и только поздно ночью я случайно увидел на правом краю стола несколько чернильных следов лапок какого-то зверька, повидимому, лисицы.

## Х. О ИЕРОГЛИФАХ

(К главе «О иероглифах»)

Иероглифопись—рисунок сердца.

Я н ц з ы.

Латинская буква властным жестом утверждает, что вещь такова, китайский же знак есть та вещь целиком, которую он знаменует.

П. К л о д е л ь.

Попробуйте сейчас собрать пять или десять молодых азийцев и провести среди них анкету об их отношении к иероглифической системе письма. Прежде всего вас удивит внешний вид письменных ответов на анкету. Потому, что одни ответы будут написаны иероглифами, другие—латинскими буквами, третьи—уродливыми фонетическими знаками, что недавно изобретены в Пекине, а четвертые будут просто неразборчивы.



Но вас еще больше удивит тон этих ответов. Напряженно страстный тон инвектив против иероглифов будет свидетельствовать о том, что для авторов этих ответов данный вопрос является не бесстрастной академической проблемой, а вопросом трепещуще-живым и учащенно-пульсирующим, вопросом наиактуальнейшим. По этому вопросу ежедневно ломают груды копий во всех университетских городах Азии, начиная с Пекина, Сеула и Токио.

Те, кто непримиримо отвергают иероглифы, будут вас уверять, что в наш век, когда над Великой стеной, помнящей еще гуннов, летают Юнкерсы, когда нагасакские проститутки читают Поля Морана, а севильские гимназисты гектографируют эпистолы Крестинтерна, иероглифика — вопящий анахронизм. Сейчас эра ундервудов и стенограмм — прочь несуразные неуклюжие знаки — каменный век письма!

Перед вами статистические таблицы, где беспощадной тушью на ватмане показано, сколько бесценного времени, какой огромный кусок жизни безвозвратно отнимают у человека эти иероглифы. Подумать только, сколько зрительной и мнемонической энергии тратится на этот демонский шифр каждый день на протяжении от Аннама до Курильских островов! Иероглифы, чугунные колоды на ногах, задержали Азию на несколько сотен лет. Если б их догадались истребить в тринадцатом веке кривоногие юаньские императоры, родичи Чингиса, то вся история нового времени имела бы совсем другое лицо.

В русском алфавите самая сложная буква Щ имеет пять графических черт, считая хвостик, а в латинском — М, имеющая четыре черты. А один из употребительнейших китайских иероглифов ЮЙ, что значит «густой, роскошный, огорчение», имеет двадцать девять черт и похож на эскиз к экс-



прессионистской картине. Если китайские, корейские и японские школяры те ночи, что истрачены ими на укрощение иероглифов, употребили бы на другое, ну хотя бы на изучение чужих языков, то они читали бы всех европейских классиков в подлиннике и на их носсах не восседали бы очки в таком количестве, как ныне.

Статистика, НОТ и офтальмология безоговорочно стоят за свержение диктатуры иероглифов.

Эти три дисциплины — европейского происхождения, и неудивительно, что вы, европеец, сразу же становитесь на сторону анти-иероглифистов.

Но выслушайте и другую сторону.

Вы говорите:

— Довод ваших врагов о том, что эти графические ихтиозавры съедают почти четверть всей энергии учащейся молодежи, неотразим. Какой океан времени мог бы быть сохранен! Давайте оставим иероглифы для буддийских сутр, ведь таинственные знаки всегда внушают уважение... для театральных плакатов, потому что ваши письма очень декоративны и для книг в тюремных библиотеках: иероглифы незаметно притупляют и успокаивают человека. Ведь чудовищная трудность...

— Прерываю вас, потому что знаю наперед все ваши двадцать два сакраментальных аргумента. Трудность иероглифов бессовестно преувеличивается особенно теми, кто не знает ни одного знака. Спросите у русских юношей из Златоустинского переулочка в Москве, которые весело учат эти иероглифы. Они вам скажут, что иероглифы совсем не страшны. — Во-первых, надо выучить 214 ключевых знаков, во-вторых, ходить аккуратно на лекции профессоров Колоколова и Пашкова, а, в-третьих, не быть наследственным кретином — и все. Вы говорите дальше, что иероглифы притупляют, это неверно.



Они лучше всяких мнемонических экзерсисов развивают зрительную память и открывают перед неофитом новый мир бездонной и величественной красоты. Созерцание иероглифов ничем не отличается по характеру пробуждаемых эмоций и эффекту от созерцания творений искусства. Гравюра Сяраку, героический пейзаж Ма-Юаня и иероглиф стоят рядом так же, как в европейском искусстве саженное панно Пюви де-Шаванна и филигранная виньетка Сомова...

— Иероглиф — творение искусства? Иероглиф это — графический знак, он по своему происхождению и назначению — родной брат европейской буквы, не больше!

— Между европейской буквой и китайским иероглифом такое же расстояние, какое существует между деревянной палочкой для еды и статуэткой богини Каннон. Старый Кадм, который посетил как-то ночью одного французского сочинителя, писавшего под псевдонимом Анатоля Франса, сказал, что изобрел двадцатидвухзначную финикийскую азбуку исключительно для удобства торговли, чтобы быстро, не теряя зря песочных минут, писать первые в мире коносаменты и тратты. Эта азбука, приходящаяся бабушкой европейским алфавитам, была письменностью средиземноморских спекулянтов, темных и невежественных. Китайские же иероглифы были созданы рядом поколений философов и художников.

Первые века работали только художники — они создали категорию изобразительных иероглифов — первобытную китайскую энциклопедию в рисунках. Некоторые из этих рисунков-иероглифов с их предельно лаконической выразительностью, мудрой экономией линий и очаровательной изобретательностью, являются незабываемыми шедеврами рисовального мастерства.



Посмотрите, например, на самую первую редакцию иероглифов женщины, дракона, лошади, хамелеона, телеги, рыбы, феникса и многих других. Голая широкобедрая женщина стоит, слегка расставив ноги, и с угловатой первобытной грацией прикрывает одной рукой низ живота. Может-быть, русский академик Марр, этот Велемир Хлебников от науки, когда-нибудь блистательно докажет, что поза Милосской Венеры взята от китайского иероглифа женщины, который теперь читается «нью» и смело ассонируется с французским словом «ню».

Посмотрите на эти иероглифы. Лошадь, яростно развевая по ветру гриву, встала на дыбы. Дракон, победоносно подняв голову, колыхая усищами и изогнув донельзя гигантское туловище, летит по синезолотому небу. Рыба, похожая на ящера, с разинутой пастью и грузным хвостом. Феникс, трактованный чрезвычайно дерзко: не видно ни головы ни ног — зато показан зигзаг плавного величавого полета и узор пышных огромных перьев. Телега, нарисованная по всем правилам конструктивизма европейского двадцатого века и как будто выкатившаяся из детской книжки, иллюстрированной В. Лебедевым. — Здесь можно вас до вечера водить от одного иероглифа к другому, и вам не будет скучно, если вы хоть на секунду подумаете о том, что, может-быть, в вас течет капля крови этих трогательных первых мастеров.

Когда художники сделали свое дело и смогли уйти, пришли философы и начали, во-первых, осторожно упрощать эскизы художников, приспособлять к жизни, а, во-вторых, конструировать отвлеченные иероглифы — создавать понятия, ибо философия всегда была «поэзией понятий».

Появились, например, такие иероглифы: «смерч, вихрь» — изображение трех псов; «шалить, дразнить» — двое мужчин тискают женщину; «покорность» — чело-



век, а перед ним собака; «отдых» — человек, прислонившийся к дереву; «водопад» — вода и буйство; «грохот» — три телеги; «отчаянная борьба» — тигр, а под ним кабан; «спокойствие, мир» — женщина чинно сидит под крышей дома и др. (Кто мог бы думать, что этими же знаками в XX столетии в пекинских, сеульских и токийских газетах будут выражаться путем остроумнейших сочетаний такие понятия, как: гарантийный пакт, верлибр, гепеу, гуано, мазохизм и эмбарго?).

Итак, были созданы все категории отвлеченных и комбинированных идеографов. Иероглифы, эти Големы, сотворенные мудрецами, стали жить как все твари органической природы, и по их причудливо изогнутым членам медленно потекла черная душистая кровь. Они стали беспрерывно расти, меняться в облике, терять ненужные органы и приобретать гладкий безукоризненно оборудованный вид. Но те, кто в течение вереницы веков трудились над постепенным упрощением пушистых неповоротливых знаков, никогда не забывали о строгой грации и крепкой красоте знака.

Вместе с изменением внешности, иероглифы претерпевали интенсивную внутреннюю эволюцию — меняли свое значение, сбрасывали с себя старые имена и получали новые. Например, иероглиф «хамелеон» незаметно в беге веков обронил где-то свое первое значение и стал означать «проворный, юркий»; иероглиф «облака или клубы пара, поднимающиеся вверх», стал означать — «говорить», а иероглиф «вяленые куски мяса» — старый, древний и т. д.

История европейского алфавита скудна фактами, как биография трамвайного контролера. История иероглифического письма это — пышная многотомная история одной из великолепных отраслей изобразительного искусства.



Как жаль, что у нас нет времени и нельзя вам рассказать о том, через какие эпохи стилей прошли иероглифы. Для вас имена Ши-Лю, Ли-Су, Цай-Юн, Чжун-Ю, Ван-И-Чжи — такой же пустой звук, как названия аргентинских крейсеров для корейского бонзы. Это — имена великих кодификаторов, создателей калиграфических эпох, магов кисти. Запомните на всякий случай, что небывалый расцвет искусства иероглифописи был в третьем и четвертом веках европейской эры — мы здесь видим существование многих стилей и их борьбу. Позднее, в седьмом веке, в эпоху Танскую, плеяда художников письма хотела возродить древнейший стиль, но эта псевдоклассическая вылазка кончилась неудачно.

По-китайски искусство писания иероглифов называется «синьхуа», по-японски «синга», что значит «рисунок сердца». Это название пустил в оборот философ Янцзы, сказавший, что «слово есть голос сердца, а иероглифопись — рисунок сердца».

Вы, европейцы, пишете несгибаемым металлическим пером, это все равно, что скоблить бумагу запчканным гвоздем. Мы, азийцы, пишем на тонкой прозрачной бумаге мягчайшей кистью, трепетной кистью, держа ее вертикально. Неуловимое движение души, ничтожнейшая дрожь руки передается на кисть, и мы получаем на бумаге утолщение или утоньшение черты, нажим, отрыв, поворот, росчерк, взлет или зигзаг кисти. Задержите на несколько секунд руку, и сразу же пятно туши станет расползаться на бумаге; проведите кистью два раза по одному и тому же месту — получится жирная уродливая черта, отличная по окраске от других. Если в руке вашей не будет уверенности и непринужденности, иероглифы выйдут хилыми и дряблыми.

Принципы рисовального мастерства Восточной Азии целиком построены на приемах иероглифописи.



ного искусства. Вот почему, если на картинах наших мастеров рядом с извилистой горой и водопадом написано четверостишие, то этот пейзаж и эти письменные знаки взаимно дополняют друг друга, и зритель одновременно любит живопись, внешним обликом иероглифов и смыслом начертанного.

В X веке, в то время когда по Европе рыскали десантные батальоны викингов — в Японии, переживавшей эпоху Хэйан, были в моде так называемые «асидэ» — картины, смонтированные из одних иероглифических начертаний, полных или сокращенных. Вы на асидэ видели течение воды, камни, деревья, скалы, бамбуковые рощи, крыши буддийских храмов, пики гор, облака, птиц и в то же время читали в них иероглифы. Девять веков тому назад на Японских островах умели тонко наслаждаться! Если возьмем непревзойденного Ван-И-Чжи с его...

— Простите, у меня нет времени без конца слушать ваш путанный трактат об изысканных свойствах иероглифов. Будем кратки. К чорту ваше гурманство и эстетическую мистику. Это все — азиатская метафизика. Прежде всего, иероглифы — система письма. Время — золото. Письменные знаки должны быть предельно просты и быстрописательны. В простоте и быстроте — высшая красота, целесообразная красота. Что красивее: весь покрытый кондитерскими украшениями дормез или гладкий голый авто? Авто. Авто красивее и авто быстрее. Пока вы, высунув от напряжения язык и перебирая в памяти ваших полумифических академиков, выводите на расплывающейся бумаге один иероглиф, — я автоматической ручкой настрою десять слов. Авто и арба. Миноносец и шаланда.

— Извините, у нас существует почерк «цаошу» — иероглифическая скоропись. Наши студенты дословно записывают этим иератическим почерком лекции



профессоров. Любовные письма у нас принято писать скорописью, ибо они необычайно граци...

— Стоп. Надо кончать нудный диспут. Я мог бы окончательно развенчать перед вами ваши «дзыры», как их называют русские студенты-ориенталисты, но у меня нет времени. Скажите последнее слово. Вы не отрицаете того, что чудовищная громада времени уходит на усвоение ваших кабалистических ублюдков. Это самый убийственный аргумент. Время — золото. Ваша попытка оправдать иероглифы за их родословную и подозрительную миловидность — жалка и суеславна. Попробуйте найти хоть какое-нибудь оправдание вашим иероглифам с точки зрения це-ле-со-о-браз-но-сти. Какое-нибудь.

— Их уже великолепно оправдал Пильняк-сан, сказавший: «Если бы я, не знающий китайского, японского и испанского языков, и мексиканец, не знающий японского, китайского и русского языков, — если бы мы изучили иероглифическую грамоту, — мы бы, без знания языков, сумели бы списаться и понять друг друга: я, китаец, японец и мексиканец». Это наивысшее оправдание иероглифической письменности! После этого оправдания от ваших доводов о золотых медяках времени и об утечке энергии — ничего не остается.

Запомните раз навсегда, запишите вашим неподражаемым гвоздем, вашими жалкими литерами вот что. В главной канонической книге конфуцианства — «Луньюй» есть фраза: «в пределах четырех морей (т.-е. всего мира) все люди — кровные братья». Русский, китаец, японец и мексиканец, о которых говорит Пильняк-сан, — братья, и поэтому они должны понимать друг друга. Они могут понять друг друга при помощи иероглифов.

В основу нашей азийской иероглифики положена великая идея, идея духовного братства народов всех «четырех морей»!



## ХІ. ОБ ОДНОМ ЯПОНСКОМ ТОННЕЛЕ

(К главе «—ум гэта»)

На острове Кюсю в провинции Будзэн, около местечка Ао, путешественникам часто показывают один тоннель, маленький узкий тоннель, годный только для пешеходов, пробитый кирками в первой половине XVIII века сквозь гигантскую гору-скалу, что возвышается над рекой Ямакунитава. До появления этого сквозного отверстия в каменной громаде приходилось делать длинный и леденящий душу путь: проходить по скрепленному цепями мостику-дорожке из бревен, который, висая над гулкой пропастью, опоясывал гладкую, как ширма, скалу. До появления этого тоннеля многие путники, у которых был неудачливый гороскоп, низвергались в бездну с этого колыхающегося мостика-пояса. Быль о прорытии этого тоннеля, остановившего бесплопные жертвоприношения, быль, уже два раза вздохновлявшая современного японского беллетриста Кикуты, может служить незаменимой иллюстрацией к словам Б. А. Пильняка: «Это только столетний, громадный труд может так бороться с природой, бороться природу, чтобы охолить, перestroгать, перекопать все скалы и долины. Это только гений и огромный труд могут через пропасти перекинуть мосты и врыться тоннелями в земные недра на огромные десятки верст». Перескажем эту быль, уже дважды кипевшую в творческом тигеле Кикуты, собственными словами, словами строгого историка.

Один эдоский самурай, спихнутый роком с правильного пути после невольного убийства своего владыки, прошедший после этого тяжелую многогрешную юность и в конце уставший от необузданного разврата и неисчислимых убийств, вдруг обрил



себе голову и, надев четки на пальцы, пустился в странствие по японским островам. В 1724 году он пришел в деревню, около которой висел на груди скалы смертоносный мостик. Увидев очередные трупы и эту колыхающуюся тропу в ад, кающийся путник,—его звали Рьокай,—вдруг запылал диким безрассудным желанием: вооружить жителей окрестных деревень кирками и лопатами и ценой каких бы то ни было усилий продолбить через гору-скалу-громаду зияющий проход. Но страстные речи прищельца, исступленные призывы его ударились о скалу недоуменного изумления всех. Тоннель сквозь гигантскую каменную массу голыми руками? Скорее можно построить пагоду из булыжников до луны, чем этот тоннель, случайно приснившийся безудержному фантасту. Рьокай молча взял кирку и принялся один за работу; к вечеру подножие каменной громады было слегка поцарапано. Вид человека, повидимому рехнувшегося, остервенело колотящего по скале, был поистине жалким. Первые дни жители, посасывая крохотные трубки, любовались издалека комическим зрелищем, но вскоре это им надоело — актер был убийственно однообразен. Когда Рьокай через год, прорыв около двух сажен, скрылся в дыре, его почти все забыли. Через четыре года пробоина в горе была длиной в семь сажен, а на девятом году глубина пещеры уже достигала пятидесяти четырех аршин. Стук кирки из дыры делался все глуше и глуше. Окрестные жители, не читая Шекспира, сказали себе: «Если это и безумие, то довольно систематическое», и стали понемногу помогать Рьокаю. Начинали помогать, постепенно загорались надеждой, бешено стучали, потом постепенно незаметно уставали, разочаровывались, отчаивались и, покачивая головой, уходили из темной пещеры—сколько было таких! Но Рьокай работал неутоми-



мый, ровный, безмолвный и только по ночам пугал своих помощников радостными воплями во сне. На восемнадцатом году после начала работы Рьокай уже не мог ходить — он мог только стоять на коленях и бить киркой; к тому же он полуслеп от вечной каменной пыли и от вечного каменного сумрака. Как-раз в этом году в деревню забрел один самурай, который, расспросив словоохотливых жителей о личности Рьокая, вдруг просиял и, схватившись за рукоять меча, бросился в пещеру. Добежав до места работ, он схватил полуслепую бонзу за шиворот и громко назвал себя; он оказался сыном сановного самурая, павшего когда-то от руки Рьокая; сыну убитого пришлось согласно велениям самурайских обычаев по достижении совершеннолетия пойти разыскивать убийцу отца, чтобы выполнить акт священной мести; после девяти лет, неовозвратно растерянных на японских дорогах, он наконец пришел к цели. Помощники Рьокая камнями отогнали самурая и после долгих увещеваний вырвали у него согласие подождать до конца работ, до завершения тоннеля. Первое время самурай зловеще сидел в стороне, наблюдая за работающими, но через несколько дней решил присоединиться к ним, чтобы ускорить хотя бы на минуту приход сладостного мига — удара мечом по шее Рьокая. Самурай взял кирку и, став на колени рядом со смертельным врагом, неистово заколотил по камням. Самурай и бонза бок-о-бок, плечо-о-плечо проработали ровно год и еще шесть месяцев, и в одну сентябрьскую ночь 1745 года — как-раз на двадцать первый год после первого удара — кирка Рьокая, как-то странно звякнув, застряла в скале, и перед всеми внезапно сквозь отверстие открылось звездное небо, огоньки деревень на горах и берег отчетливо журчащей реки. Бонза бросил кирку, хрипло крикнул что-то и упал



к ногам самурая, подставив свою голову под меч. Но тот — потрясенный и смятый этим небывалым человеческим подвигом, этой чудовищной победой эфемернейших человеческих рук, этим ослепляющим торжеством человеческого труда, молча опустился на колени, подняв рыдающего старика с земли, и крепко, крепко обнял его.

Так повествует Кикиути в двух своих вещах: в повести и драме, по-карлейлевски «снимая крупным планом» щуплую фигуру Рьокай и нахлобучивая на голову последнего тяжелый, ярко-начищенный нимб: крестьян же, без помощи которых Рьокай умер бы на десятой сажени, заставляет играть роль неприметных никтошек. Если бы Кикиути приехал в Москву и поучился хотя бы месяц в Кутве, что на Страстной площади, он вне всякого сомнения написал бы еще раз об этом тоннеле. Но в третий раз — а в третий раз японцы говорят: «сандомэ но сьодзики» — истина торжествует — в третий раз Кикиути отбросил бы в сторону мелодрамный сюжет с истерикогероем бонзой и всепрощающим самураем и написал бы только вот о чем:

— О том, как крестьяне нескольких деревушек провинции Будзэн двадцать с лишним лет непоколебимо боролись с каменной стихией; о том, как они ее великолепно победили!

---

## XII. ОСАНАИ КАОРУ

(К 70 стр.)

Родился в 1891 году. Окончил литературный факультет Токийского университета. Автор ряда романов, новелл, драм и теоретических работ по театру. Организовал вместе с одним из лучших актеров японского классического театра Итикава Садандзи «Свободный театр», который на-ряду с театром проф.



Цубоути открыл свыше десяти лет тому назад новую эру в истории японского театра. Ныне Осанаи состоит в качестве одного из режиссеров театра в квартале Цукидзи в Токио; на сцене этого маленького театра ставятся вещи Стриндберга, Газенклевера, Чехова, Метерлинка, Л. Толстого, Чапека, Пирранделло, Горького, Вильдрака, Кайзера и О'Нейля. Три постановки Осанаи подверглись запрещению со стороны полиции.

---

### ХІІІ. «ДОРОГА ЦВЕТОВ». ВЕРТЯЩАЯСЯ СЦЕНА

(К главе «Театр и живопись — элементами формулы шара»)

В 1668 году в театрике Каварасакидза впервые была устроена деревянная тропа, пересекающая весь зрительный зал и концом перпендикуляра упирающаяся в сцену. Тропа была предназначена специально для того, чтобы на ней раскладывали подношения актерам. Но вскоре по этой тропе стали шествовать и бегать по ходу действия, и она стала незаменимой и неотъемлемой частью сцены. Между прочим в театре «Но», театре Асикагской эпохи, фигурирует мост — хасигакари, который может показаться прототипом «дороги цветов». Но ныне историками театра непоколебимо установлено, что мост не имеет никакого отношения к «дороге», последняя развилась совершенно самостоятельно.

Уже во втором десятилетии ХVІІІ века на японской сцене стали применяться технические ухищрения. История японского театра сохранила имя крупного сценического новатора в Эдо — Накамура Дэнсити, изобретшего движущиеся декорации и переворачивающиеся сценические коробки. Этот Всеволод На-



камура делал полные сборы в театре своего имени — «Накамура-дза», показывая остроумные фокусы сценического оформления. В пятидесятых годах XVIII века все театры стали уделять острое внимание технике моментальной смены сцен, и здесь была поставлена проблема о верчении сцены. Вначале на самой сцене ставили площадку на колесах, и три-четыре никтошки медленно поворачивали ее, но в 1793 году — в год французской революции — на японской сцене тоже произошел переворот. Один из оформителей догадался построить сцену наподобие карусели или волчка. Вскоре сцена весело закружилась, и стало навеки возможным мгновенно менять сцену и одновременно показывать два действия, происходящие в разных местах.

Гото Кэйдзи в своей истории театра Японии помещает слова одного японского театроведа XVIII века, автора трактата «Кйогэн-сакусьо». Этот автор отрицательно относится ко всей театральной инженерии, техническим махинациям на сцене, утверждая, что они вредят подлинному мастерству актеров и разрушают обаяние театрального действия. Автор говорит, что театры стали прибегать к всевозможным установочным трюкам и частым сменам сцен только по той причине, что: «актеры неискusstны и незрелы в своем мастерстве и не могут выдерживать продолжительных сцен». «Вертящиеся и подъемные приспособления, — говорит он далее, — возникли только благодаря падению чистого актерского мастерства»...

Что он сказал бы теперь, если, воскреснув, очутился бы в Москве? Наверное, всплеснув руками, попросил бы как можно скорее перевести его книгу на русский язык...

---



## XIV. НАЧАЛО ЭРЫ

(К главе «Театр и живопись — элементами формулы шара»)

... Молодое, европеизированное искусство теперешней Японии вырастает уже в монументы, — подпочва для его возрастания созрела в Японии.

(Из главы «Театр и живопись — элементами формулы шара»).

После того, как японцы стали во второй половине прошлого столетия воспринимать европейскую культуру, японское изобразительное искусство разделилось на чисто-японское, верное исконным традициям восточно-азиатского искусства, и японо-европейское, целиком основанное на европейской изобразительной технике. Противостояние этих двух фракций продолжается до сих пор, но в последние послевоенные годы наметился знаменательный процесс — процесс синтеза японских и европейских принципов изобразительного мастерства. Мастера, пишущие японскими водяными красками китайской кистью на шелку, начали внимательно изучать пост-импрессионистов и Пикассо, и на новейших какэмоно и ширмах замелькали коричневые голые женщины на фоне невероятно ярких пейзажей, пятиугольные яблоки, сине-зеленые горы и деревья и расплывающиеся кубы. И в то же время художники, возвратившиеся из Парижа, прямо из мастерских Лорансэ, Дюфи, Глэза, Архипенко и др., начали делать рисунки тушью в стиле «нанга», украшать бумажные ширмы композициями в стиле японских и китайских классических мастеров. Японские «парижане» не бросают привычное для них масло, темперу и сангину, которыми владеют очень уверенно, но многие из их творений



могут привести в отчаяние даже самого опытного музейного эксперта, ибо невероятно трудно решить, в каком зале повесить их — в зале японо-китайской живописи или ново-европейской. Таковы, например, гибридные опусы большого мастера Кисида Рюсэй, изучавшего раньше Дюрера и Сезанна, а теперь штудирующего старинных китайцев и ранних укийоэристов. Таковы, например, вещи Косуги Мисэй, Цуда Сэйфу, Цубаки, Садао, Морита Цунэтомо и Накагава Кигэн. Между прочим последний до недавних дней очень изобретательно подражал Матиссу, но осенью 1926 г. на выставке «Ника», японского Салона Независимых, вдруг выставил эскизы тушью в чисто-японской манере, пожалуй, в стиле хайга — иллюстраций к хокку. Анонимный хронист, обозреватель из ежегодника газеты «Майнити», справедливо утверждает, что скоро придет время, когда картины маслом, написанные японцами, нужно будет относить к восточно-азиатскому искусству и вешать рядом с какэмоно, сделанными водяными красками и тушью, ибо разделяющая черта между «японо-японской» и «японо-европейской» живописью медленно, но верно тускнеет.

На всем протяжении истории японского искусства мы видим отчетливое ритмичное чередование эпох — эпох подражательных, в течение коих японцы торопливо-ученически вбирали в себя иноземную художественную культуру, и эпох самостоятельных, когда из синтеза импортированных элементов искусства с самобытными национальными возникала эпоха величавого блистающего расцвета. Так танская живопись породила эпоху школы Яматоэ, искусство северосунских мастеров вызвало к жизни Сэссю и Кано Мотонобу, а картины маслом и дешевые олеографии, случайно завезенные голландскими арматорами в Нагасаки в XVII и XVIII вв., оказали неизгладимое влияние на токугавские ксилогравюры.



Сейчас, когда японцы уже усвоили до конца после двадцатилетнего ученичества все завоевания европейцев — от импрессионизма до конструктивизма, не стоим ли мы сейчас на пороге нового очередного японского Ренессанса?

У японцев летоисчисление идет по эрам. Сейчас у японцев эра Сьова — эра «Светлого Мира», начавшаяся с 1926 года. Не стоим ли мы сейчас на пороге новой эры, эры великого синтеза азиатского и европейского искусства?

---

## XV. ЯПОНСКИЕ ПИСАТЕЛИ и Б. ПИЛЬНЯК

(К главе «Япония—мне: общественность»)

О Б. Пильняке в дни его пребывания японцы писали очень много; в ряде журналов были помещены статьи, при чем несколько статей в левых журналах являлись приблизительным пересказом статьи Л. Троцкого; на обложке журнала пролетарской литературы «La Fronto» (майский номер) было написано большими буквами: «воспеваем праздник труда» и на другой стороне листа: «встречаем Б. Пильняка».

Фарреру, Келлерману, Ибаньесу никаких встреч японцы не устраивали; Клоделя встречали как посла Франции, как сиятельного заморского вельможу, его встречали гвардейский караул и чиновники в цилиндрах, но русского писателя Пильняка встретили и окружали за все время пребывания в Японии его товарищи по работе — японские писатели. Лучшее отношение японских литераторов к советскому гостю, приезд которого прибавил много седых волос на голове начальника оперативного отдела токийского деп-та полиции, выразилось в небольших «дзуйхицу», помещенных в журналах «Бунгэй Сюндзю» и «Бун-



гэй Сэнсэн». В первом описывается писательская вечеринка, устроенная в честь прибывшей четы, причем автор говорит, что хотя гости и хозяева не могли объясняться непосредственно, тем не менее весь вечер прошел под знаком крепкого братского языка душ, инициатором которого может быть, по мнению автора, только русский человек. Во втором журнале пролетарский писатель Сасаки Такамару пишет на тему о том, что у англичан и американцев, приезжающих в Японию, всегда с носа капает чувство национального превосходства, оскорбительная спесь европейцев — советские же гости, к большому изумлению автора, в этом отношении наглядно доказали, что они уже перестали быть европейцами.

## XVI. «ЯПОНИЯ № 2»

(К главе «Япония — нам: общественность»)

(Из записной книжки)

Когда простолюдины встречаются на дороге со знатными, то, пятясь назад, прячутся в траву.

(Из китайской летописи «Вэйчжи» [(описание японцев III века после р. Хр.)]).

«Мы научили японцев капиталистическому режиму и войне. Они кажутся нам страшными потому, что становятся похожими на нас. И это, на самом деле, в достаточной мере ужасно».

А. Франс.

### 1. Цифры

◆ Беру несколько цифр из сентябрьской книжки «Кайхо», «La Етапсіро» — органа японского левого фронта общественности.



◆ Япония пролетарская состоит из 9 880 000 человек.

Ядро японского пролетариата, великая триада — фабрично-заводские рабочие, горняки и транспортники — насчитывает 4 348 000 человек.

Объединено в рабочие союзы — 241 000 человек. Эта лейб-гвардия японского пролетариата, отборная часть, состоит из 209 рабочих союзов, девяносто четыре процента которых родилось после 1918 года.

◆ Сельская беднота — косакуно, что значит «крестьяне, обрабатывающие мелкие наделы», «мелконадельники» — состоит из 3 800 000 семей.

В союзах мелконадельников состоит 306 000 человек. Эти мелконадельники — члены союзов — ведут сейчас нескончаемую борьбу с помещиками. Они ведут борьбу напористо и спаянно, совсем не так, как их деды, которые только в припадке отчаяния бросались к набату, пронзительно дули в раковины, вооружались бамбуковыми копьями и, помавая соломенными хоругвями, оголтело шли к замку даймьо, подавали ему челобитную и, получив подачку-уступку, торпливо выдавали застрельщиков, а потом через несколько дней вытирали слезы перед их почерневшими головами.

Теперь завязка и развязка крестьянских выступлений делается совсем по-другому. Вожаки, вместо того, чтобы ставить свои отрубленные головы на бамбуковые треножники с дощечкой, ставят небрежные подписи на листах показаний в полицейских и жандармских участках.

◆ В ногу с рабочими городов и рабочими деревень идут 50 000 «эта», членов «Ассоциации уравнения по ватерпасу». Этот экзотически звучащий союз состоит из выходцев из касты отверженных, по-японски — «эта», что значит «поганые». Каста официально существовала в Японии до 1871 года, и



по сьогунским декретам каждый «эта» считался  $\frac{1}{12}$  человека, т.-е. человек, зарезавший с умыслом дюжину «эта», судился за убийство одного человека, хотя по тем же сьогунским декретам — при сьогуне Цунайоси — за убийство ласточки человеку отрубали голову.

◆ В качестве попутчиков идут 10 000 членов Всеяпонской Лиги «салариманов», объединяющей союзы мелкой служилой интеллигенции городов Токио, Осака, Кобэ и Киото. Один из японских революционных стратегов, коммунист Тагути Ундзо, бывший секретарем у т. Иоффе, когда тот жил в Токио, безоговорочно помещает их в лагере пролетариев.

◆ Итак, в союзы объединены 250 000 рабочих, 300 000 крестьян, 50 000 «эта» и обоз — 10 000 очкастых воротничков.

◆ С точки зрения арифмометра, эти цифры не внушительны.

Пока объединено только 5% основного кадра пролетариата. Особенно плохо организованы текстильщики, железнодорожники и горняки — от одного до трех процентов.

Мелконадельники объединены немного лучше — почти девять процентов всей крестьянской бедноты — члены союзов. Но 91 процент, увы, пребывает еще в первозданном состоянии.

◆ С точки зрения арифмометра, иногда бывающего глупым, эти цифры кажутся жалкими. Но не всегда надо верить арифметике. Цифры эти звучат совсем по-другому, если повернуть их со стороны качества.

Лучшее средство излечиться от пораженческого настроения тому, кто следит за кривой японского пролетарского движения, это — внимательно и медленно читать газетно-журнальные отчеты о заба-



стовках, аграрных конфликтах и отдельных выступлениях японских революционеров. Каждый поймет, что в настоящий момент головная фаланга пролетарской Японии находится в фазе трудного, но медленно преодолеваемого искуса.

◆ Япония № 1, императорско-генеральско-вертикально-трестовская Япония, во второй половине XIX в. пролетела в течение сорока лет тот путь, по которому белые державы ковыляли в течение четырех столетий.

Япония № 2, Япония пролетарско-революционная, которая начала свою настоящую историю с 1918 года, побила рекорд Японии № 1, пройдя столетний путь европейских рабочих в восемь лет. Время сгустилось в двенадцать с половиной раз, и у японских пролетариев сейчас год имеет 29 дней.

◆ И отчеты, о которых говорилось выше, надо читать так, как Гершензон рекомендовал читать Пушкина. Тогда каждый поймет сокровенный смысл таких фактов, как каракозовский выстрел Намба, выступления мелконадельников в префектуре Ниигата, Сибаурская стачка, победы левого фронта профсоюзов — Хьогикай и т. д., и поймет, что дело не в арифмометре, показывающем внушительные цифры, а в качестве этих цифр и в беге сгустившегося времени.

◆ Неестественно быстрый рост не проходит безнаказанно. Он всегда сопряжен с патологическими казусами.

Япония № 1, имеющая супердредноуты, газеты с миллионным тиражом и вертикальные тресты, одной погой еще стоит в средневековье. Возьмите непрекращающиеся распарывания животов, кровавые рецидивы походов Хидэйоси на Корею, бывших в конце XVI века, культ демонов и неистребимый институт наложниц.



Точно так же и Япония № 2, упираясь в первую четверть XX столетия, не может наполовину выкарабкаться из конца XVIII века. Проф. Лондонского Экономического Института Повер, приезжавшая несколько лет тому назад в Японию вместе с Б. Расселем, попала в интернат для работниц при одной из токийских фабрик (в квартале Хондзю). Изумленно оглянувшись и зажав нос, ученая миссис сказала, что она видит воочию английскую фабрику эпохи промышленного переворота... (Эта фраза цитируется в книге доцента коммуниста Сано «Введение в изучение социальной истории Японии»).

◆ Сейчас 60% всего фабрично-заводского пролетариата Японии — женщины.

Нужны гомерические усилия, чтобы этих брошенных в XVIII век безропотных невольниц превратить в пролетарских амазонок. Это будет сделано — людьми и временем.

◆ Сейчас 10% всего фабрично-заводского пролетариата Японии — дети, подростки до 15 лет, которых нещадно эксплуатируют.

Возьмите какое-нибудь описание жизни детей на английских фабриках во второй половине XVIII века, немножко смягчите углы эпитетов, сократите несколько цифр, выбросьте несколько междометий, вместо названий — Манчестер, Больтон, Стокпорт поставьте названия японских городов, и у вас получится интересная, изобилующая свежими фактическими данными заметка «О положении детского труда в сегодняшней Японии».

Я иногда молюсь так:

— Слушайте, Чарльз Диккенс, если метампсихоз не сказка, то, ради бога, вселяйтесь в японского романиста Кикуги и напишите несколько новых «Никкльби» из жизни японских фабрик!



## 2 До-история

◆ До 1918 года была до-история. Настоящая история, плотная, туго набитая фактами и связная, идет с 1918 года.

До-история состоит из отдельных разрозненных событий, всплесков, отрывочных выступлений. Первые рабочие союзы, созданные стараниями энтузиастов-интеллигентов, вернувшихся из Америки, появились в последнем десятилетии XIX века. То был период героической деятельности трогательных идеалистов, энергичных пионеров и непреклонных безумцев. Вот они: «японский Роберт Оуэн» — Сакума Тэйити; первый организатор союза рикш, впоследствии казненный — Окуномия; Накадзима Хандзабуро — автор и режиссер первой японской стачки на Гавайских островах, зачинщик крестьянского движения в Маэбаси, самоотверженный чудаков, окрещенный всеми «сумасшедшим». Это — будущие славные члены японского пролетарского Пантеона.

◆ Первая в истории Японии рабочая демонстрация состоялась 10 апреля 1898 г. В восемь часов утра 800 рабочих собрались в помещении организации, повернулись в сторону императорского дворца, ирокричали троекратное банзай в честь сына Неба и, надев головные уборы, специально сшитые к этому дню, пошли стройными рядами в парк Уэно под пенье первой в Японии рабочей песни. Прийдя в парк, где было больше полицейских, чем деревьев, они откупорили сакэ, съели обед, принесенный ими в деревянных коробочках и в три часа дня чинно, с достоинством разошлись. (В этот день ответственным распорядителем демонстрации был один юноша, незадолго до этого возвратившийся из Америки, где он блестяще кончил университет с званием бакалавра.



Вскоре этот юноша стал на-ряду с анархистом Котоку в первых рядах японских революционеров, а после начала полицейского террора вынужден был эмигрировать. Теперь его, уже шестидесятилетнего старика, можно часто видеть тихо шагающим по Тверской. Теперь он — неперемѣнный член исполкома Коминтерна и зовут его Сэн Катаяма).

◆ В этот памятный день на улицах Токио впервые зазвучала песнь, которая начиналась так:

Даже гора Фудзи, что висится в небе,—  
Это только глыба комьев земли.  
Товарищи по работе, настало время —  
Возьмемся за руки,  
Вместе — наступать или отступать.  
Будем биться крепкими рядами.  
Ну-ка, перегоним гору Фудзи  
В своей крепости и спаянности.  
Если жарко взяться, что-нибудь да выйдет.  
Если жарко взяться, что-нибудь да выйдет.

◆ (Первомай был отпразднован в первый раз в Японии группой социалистов в 1905 году).

◆ Эти рабочие организации были эфемерны — рождались в результате отчаянных усилий и быстро лопались при первом тычке полицейского пальца или после первого провала стачки.

В это же время когорта революционеров во главе с Котоку, Катаяма и др. бешено пробивала себе дорогу сквозь стену полицейских и охранных псов. Скрипящие тюремные ворота стали для них добрыми старыми знакомыми.

◆ В 1910 году принц Какура, премьер-министр, генерал, не видавший ни одного боя, решил уподобиться богу Сусапоономикото, некогда отсекавшему разом все головы у зловредной гидры. В июне этого года 26 революционеров во главе с Котоку и его женой Канно Суга были внезапно схвачены. В январе



следующего года, после приговора верховного суда, с ними торопливо расправились. Двенадцать — в их числе чета Котоку — были удушены — в Японии смертная казнь производится при посредстве особой машины «косюдай» — «горлодавилки», в объятиях которой смерть наступает не раньше, как через пятнадцать минут. (Мне один товарищ прокурора говорил, что многие умирают с улыбкой, ибо смерть на «давилке» очень приятна). Еще двенадцать были присуждены к каторге на всю жизнь. Из них умерло до настоящего времени — пять, сошел с ума — один, остальные шесть еще живы. С ними сообщаться нельзя никому, родные и друзья простились с ними навсегда 15 лет тому назад. Причина ареста и расправы неизвестны, ибо в печать попало только несколько туманных и кратких, как танка, сообщений. Обо всем процессе известно столько же, сколько сыну моему Аттику о биографии первого царя на Сатурне. В правительственном коммюнике было глухо указано, что Котоку и его товарищи были накануне какого-то невероятного преступления, которое, буде оно осуществлено, покрыло бы их извечным позором. Их просто удержали от этого faux-pas...

◆ Ликвидация 24-х и последовавший за ним полицейский террор достигли цели — революционное и рабочее движение на время были стерты с лица земли.

◆ В 1912 году адвокат Судзуки робко организовал, оглядываясь на нахмурившего брови минвудела, «Общество дружбы» — «Юайкай» — рабочий союз с вегетарианской программой. В почетные советники был приглашен промышленный даймьо барон Сибудзава. Благодаря удачливой звезде союзик просуществовал до 1918 года, а затем он вдруг стал быстро разбухать, как отрок Момотаро из популярнейшей японской сказки.



### 3. Война на белом западе

◆ Август 1914 года. Война. Вступление Японии в войну. Штурм Циндао. Отчаянное обогащение Японии — рынки, военные заказы. Нарикины — скоробогачи растут, как бамбуки после ливня. В Японии жизнь, т.-е. рис, дорожает. Революция в России. Вторая. Газетные телеграммы о двух монстрах: «Рэинин» и «Тороцуки». Учащение пульса в интеллигентских кругах. Дальнейший подъем риса. 1 сьо — около двух литров — 20 копеек. 21—22—25. Совет депутатов уже в Урадзио (Владивостоке), в 36 часах от Цуруги. Рис: 26 — 28 — 30. Студенты уже читают статьи Кропоткина и речи «Рейнина». Зенит войны. 32—35—39...

### 4. 1918 год

◆ 1918 год — один из интереснейших в истории Японии. Он может смело стать рядом с 1848, 1871 и 1905, на одну ступеньку ниже их величеств — 1793 и 1917.

◆ Прочитайте автобиографический роман одного из рабочих лидеров — Асо «Рассвет». Первые страницы этой книги посвящены 1918 году. Начиная с апреля этого года, настроение в интеллигентских кругах делается напряженным. Особенно сильное идейное возбуждение видно среди студенческой молодежи. Сообщения о двух революциях в России производят такое же впечатление на молодую Японию, как некогда вести о парижских коммунарах на русских идеалистов. Токийские студенты начинают организовывать кружки — отдаленные копии кружков Каракозова, Чайковского, Долгушина и др. В этих кружках — «Общество новых людей», «Кружок чет-



верга», «Союз народников», «Союз творцов», «Общество рассветного народа» и др. — круглые ночи сидят над книгами по социализму и анархизму, особенно над Кропоткиным и Рэйни — Лениным, разбирают случайно добытые декреты правительства Советов, пылко спорят о сроках японской революции и в заключение читают «Новь» или «Отцов и детей». Среди молодежи появляется мода — отпускать волосы до плеч, зачесывая их назад, и носить русские рубашки. Многие бросают учиться и перебираются в рабочие кварталы или едут в родные деревни платить долг своим «младшим братьям». Неслыханная вещь — лучшая часть выпуска Токийского Императорского университета в 1918 г. отказывается от бюрократической карьеры и идет в ряды рабочих организаций. Герой «Рассвета» восклицает: «Когда думаешь о России — не сидится на месте». В другом месте он гневно говорит: «Неизвестно, когда к нам придет рассвет. Рабочие наши спят на заводах и фабриках, а крестьяне уткнули носы в землю...».

◆ 1 сентября 1923 года накануне великого землетрясения в Токио было необычайное удушье и над «градом обреченным» появилась большая черная туча. Кажется, многие чувствовали «что-то».

В 1918 г. были и удушье и черная туча, и студенты не даром до хрипоты спорили в синих от дыма деревянно-бумажных комнатухах о «решающих сроках».

Рис долез до 45 сэн, а потом, немного подумав, вдруг в первые дни августа скакнул до 50. Первые дни августа были неописуемо тревожными. Призрак беды гулко бил крыльями в воздухе.

3 августа — кабинет генерала Тэраути объявляет о посылке войск в Сибирь для восстановления порядка.

5 августа — главная обсерватория предупреждает об урагане, идущем с юга.



6 августа — в городе Тояма толпа голодных женщин начала громить рисовые магазины. Тоямки дали знак, и по всей Японии начались бунты городской и деревенской бедноты, бунты, бушевавшие весь август и в последний раз вспыхнувшие ярким пламенем на угольных копях на Кюсю. Правительству, только-что пославшему несколько дивизий для покорения сибиряков, пришлось двинуть полки пехоты и жандармерии против японцев. 10 000 бунтовщиков было загнано в тюрьмы, а число убитых не удалось установить, ибо трупы считают только на настоящей войне.

◆ Рисовый август потряс всю Японию. После него, как после землетрясения, выбрасывающего на поверхность океана вулканические острова, на поверхности японской социальной жизни вырисовались: аграрное и рабочее движение. 1918 год — высшая точка забастовочной кривой: в этом году бастовало 66 457 рабочих — в девять раз больше, чем в 1914 г. Начались первые организованные выступления «мелконадельников» против аграриев — начались стачки и локауты на полях.

◆ Быстрый рост «Общества дружбы» — рост всех рабочих союзов — рост рабочего фронта. Адвокат превращается в лидера рабочих, начинает толстеть и держать себя увереннее при встрече с бароном. В 1919 году к имени «Общество дружбы» прибавляется название: «Федерация труда».

◆ Сплочение старой гвардии социалистов — уцелевших — с революционерами призыва 1918 года. Попытка в 1920 году образовать социалистическую Лигу. Молниеносный разгон. Рисовый август и идейный ураган 1918 года, оказывается, не сделали ни одной трещинки на фасаде империи...

◆ Конец войны. Германия — нокаут. Государство нарикинов-скоробогачей в панике. Начало эконо-



номической депрессии. Массовое самоубийство банков и фабрик. Вал на рабочих. Депрессия свирепеет. Стекло, из которого выкачан воздух. Атака на рабочих со стороны верхних «двух тысяч». (В Японии имеющих больше 500.000 эда только две тысячи человек). Отчаянное сопротивление рабочих. Японская пословица: «загнанная крыса кусает кота».

## 5. После землетрясения

◆ Ночью 1 сентября 1923 года, после великого землетрясения, лишенные крова токийцы, столпившись на пустырях, в парках и в переулках, смотрели издали на горящие кварталы, по которым носилась колесница бога Кагуцути. Подземные толчки продолжались беспрерывно. Кругом был тяжелый мрак, похожий на густо разведенную тушь. Все чувствовали себя беспомощнее метерлинковских слепцов. И вот тогда среди них незаметно родились жуткие слухи о том, что правительства нет — все министры раздавлены и что на Токио дикой оравой прут корейцы, которые вкупе с японскими революционерами захватят власть и начнут уничтожать уцелевших. Древний ужас охватил всех.

◆ В эту же ночь начали формироваться отряды самообороны. Полиция и жандармерия, которых ни огонь, ни вода, ни взбесившаяся земля почему-то не догадались слопать, немедленно установили связь с этими отрядами. Слухи ширились с каждой минутой. И вот тогда началось то ужасное, что легло навсегда несмываемым пятном на японцев, — избиение корейцев и японских левых. Надо быть справедливым — это правда, что полиция и жандармерия спасла много левых от верной смерти, принудительно интернировав их в участки. Но не во всех участках



удержались от сладостного соблазна. Жандармский капитан Амакасу не вытерпел этой невообразимой пытки и собственноручно задушил веревкой вождя японских анархистов Осуги, его жену и его девятилетнего племянника. Два больших трупа и один маленький трупик были швырнуты в колодезь во дворе жандармского штаба. Эти полицейско-жандармские грехопадения случились еще в ряде мест, например, в Камэидо, где была изрешетена пулями куча юношей-коммунистов и вожаков рабочих союзов.

◆ Но корейцев не щадили никто — ни люди с пуговицами ни в кимоно. Безоружных, потешно допущих о чем-то, дружно трудолюбиво истребляли, как в конце XVI века во время корейского похода Хидэёси. Мне, корейцу, трудно писать со спокойным дыханием об этих сентябрьских расправах. Нужно быть беспристрастным и уметь строго и незамутимо ясно писать подобно китайским придворным хронографам.

◆ Великое землетрясение и гекатомбы нанесли оглушающий удар левому флангу японской общественности и рабочему движению. Но, как говорит японская пословица: «После ливня твердеет земля». Через год рабочие и левые опять построились в боевое каре. Но здесь начинается новая страница.

## 6. Алые и желтые

◆ Намечаются два крыла. Экстремисты и реформисты (по-японски «хийоримиха» — «следящие за погодой», «погодники»). Начинают скрытую борьбу за преобладание в рабочих союзах. Переходят к открытой борьбе. Начало войны алой и желтой роз. Съезд Федерации Труда в феврале 1925 г. Схватка. «Погодники» изгоняют алых. Те возводят цитадель с красным флагом — Хьогикай — Совет рабочих



союзов. Осень 1926 г. — у «погодников» — 43 000 рабочих, у хьогикайцев — 34 000.

Попытка хьогикайцев образовать с Крестьянским союзом «Рабоче-крестьянскую партию» в начале 1925 г. Минвнудел разгоняет партию.

Попытка «погодников» образовать с Крестьянским союзом «Рабоче-крестьянскую партию» в начале 1925 г. Минвнудел кивает утвердительно.

◆ Левый фланг японской интеллигенции сейчас в мучительной идейной диаспоре. Большая часть — попутчики пролетариата. Позиция дружественного нейтралитета. Интеллигентский актив — «погодники» и алые. Алые делятся на: 1) хьогикайцев и их союзников, работающих в рядах рабочих союзов, 2) революционеров — одиночек, террористов.

◆ Террористы сделали после землетрясения 1923 г. несколько неудачных выступлений. Пули студента Намба Дайсукэ только поцарапали августейшую карету, а выстрел Вада Кютаро в спину генерала Фукуда вызвал только ожог величиной в пятисенную монету. Высокопоставленные объекты отделались дрожью в ногах и сердцебиением, но напугавшие их были решительно вычеркнуты из жизни: Намба задохся на «давилке», а Вада недавно пошел на пожизненную каторгу. В прощальном письме-завещании друзьям, помещенном в журнале «Кайдзо», Вада, перед тем как навсегда уйти в мир тюремного мешка и чугунной тачки, жизнерадостным, звонким, срывающимся от юности голосом заявляет:

— Что капиталистическому строю осталось жить очень мало, это — ясно. Наше дело все время идет вперед!

## 7. Поют

◆ Б. А. Пильняк приводит любимую песенку текстильщиц. Приведу еще несколько из незабываемой



книги японского пролетарского писателя Хосода «Печальная повесть о работницах». Песенки состоят из 24 силлаб и соответствуют русским частушкам.

◆ Работницы, живущие в фабричных интернатах-тюрьмах поют:

Эх, хорошо бы, если  
Интернат снесло бы водой,  
Если б фабрика сгорела  
И от холеры сдох бы сторож!

◆ Или:

Эх, мне бы крылья,  
Чтоб улететь отсюда  
Ну, хотя бы вот туда,  
До того холма!

◆ Перед свиданием работницы-интернатки с родителями:

Я хотела бы слезы от радости встречи  
В чайную чашку собрать  
И дать родителям выпить  
Сказав, что это — сакэ...

## XVII. ВМЕСТО ГЛОССЫ — СОВЕТУЕМ

(К главе «Япония — миру»)

Желающему подробно познакомиться с политико-экономической организацией сегодняшней Японии, советуем взять две дельные методологически выдержанные книги «Япония» проф. О. Плетнера и «Япония в прошлом и настоящем» доцента К. А. Харнского. Всякий, кто честно прочтет эти книги, может со спокойной совестью на следующий день выступить в Политехническом зале на Лубянке с публичной лекцией на тему: «Судьбы японского капитализма или куда идет Япония». Успех гарантируем.

---



## О Г Л А В Л Е Н И Е

Бор. Пильняк. КОРНИ ЯПОНСКОГО СОЛНЦА

### В с т у п л е н и е:

стр.

Дневники с Синсю . . . . . 7

### И з л о ж е н и е:

1. Вулканы . . . . .	19
2. Без заглавия, справка . . . . .	25
3. Две души принципов «наоборот» . . . . .	—
4. Харакири . . . . .	30
5. Йосивара, ойран, гейши . . . . .	33
6. Вечер на Хиноки-тьо . . . . .	43
7. О иероглифах . . . . .	49
8. Сделанные люди . . . . .	54
9. — ум гэта . . . . .	58
10. — ум гэта и вулканов . . . . .	64
11. О геометрической формуле шара . . . . .	69
12. Театр и живопись—элементами формулы шара . . . . .	70

### В н е п л а н а и з л о ж е н и я:

1. Япония — европейцу . . . . .	81
2. Япония — мне: полиция . . . . .	83
3. Япония — мне: общественность . . . . .	91
4. Япония — нам: общественность . . . . .	95
5. Япония — миру . . . . .	99
6. Письма как иллюстрации формул . . . . .	104

### З а к л ю ч е н и е:

1. Япония с аэроплана . . . . .	109
2. Япония до Японии, Корень Солнца . . . . .	118
3. Япония — для меня . . . . .	123



## Р. Ким. НОГИ К ЗМЕЕ (ГЛОССЫ)

Предисловие . . . . .	131
I. Великое землетрясение 1923 года . . . . .	132
II. Акита Удзяку . . . . .	133
III. Три выписки вместо комментария . . . . .	134
IV. О бусидо . . . . .	135
V. Нобори Сьому . . . . .	147
VI. Мусякодзи. Санэацу . . . . .	—
VII. Два слова о японской стыдливости . . . . .	148
VIII. Йонэкава Масао . . . . .	150
IX. К вопросу о культе лисицы . . . . .	—
X. О иероглифах . . . . .	152
XI. Об одном японском тоннеле . . . . .	161
XII. Осанаи Каору . . . . .	164
XIII. «Дорога цветов». Вертящаяся сцена . . . . .	165
XIV. Начало эры . . . . .	167
XV. Японские писатели и Б. Пильняк . . . . .	169
XVI. «Япония № 2» . . . . .	170
XVII. Вместо глоссы — советуем . . . . .	184





**Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“**

Ленинград, ул. Герцена, 15, тел. 217-79.

Москва, Лубянский пассаж, 46—49, тел. 2-24-09.

## **РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.**

**Айзман, Д.** — Редактор Солнцев. Повести и рассказы. Стр. 184. Ц. 1 р. 50 к.

**Алексеев, Михаил.** — Большевики. 3-е изд. Стр. 190. Ц. 1 р. 10 к.

**Андреев, В.** — Канун. Рассказы. Стр. 107. Ц. 50 к.

**Аросев, А.** — Никита Шорнев. Повесть. Стр. 140. Ц. 1 р.

**Бродянский, Бор.** — Океан. Двадцать пять эпизодов. Предисл. Вл. Лидина. Стр. 76. Ц. 70 к.

**Грабарь, Леонид.** — Лахудрин переулочек. Повесть. Стр. 100. Ц. 60 к.

**Его же.** — Люди-человеки. Первый сборник. Стр. 168. Ц. 1 р. 40 к.





## Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“

Ленинград, ул. Герцена, 15, тел. 217-79.

Москва, Лубянский пассаж, 46—49, тел. 2-24-09.

Доллар, Джим. — Лори Лэн. (Печатается).

Ее же. — Месс-Менд, или янки в Петрограде.  
Роман. 2-е изд. Стр. 302. Ц. 1 р. 20 к.

Жига, И. — Думы рабочих, заботы, дела. Записки  
рабкора. Стр. 136. Ц. 1 р. 25 к.

Зорич, А. — Министр из Геджаса. Стр. 183.  
Ц. 1 р. 25 к.

Иванов, Всеволод. — Дыхание пустыни. Рассказы.  
Стр. 170. Ц. 1 р. 10 к.

Каверин, В. — Бубновая масть. (Печатается). ✓

Карпов, Михаил. — Апрельские прели. Повести  
и рассказы. Стр. 192. Ц. 75 к.

Катаев, Валентин. — Растратчики. Повести и рас-  
сказы. Стр. 273. Ц. 1 р. 85 к.

Козаков, Мих. — Абрам Нашатырь, содержатель  
гостиницы. Повесть. 2-е изд. Стр. 108. Ц. 75 к.





## Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“

Ленинград, ул. Герцена, 15, тел. 217-79.

Москва, Лубянский пассаж, 46—49, тел. 2-24-09.

Козаков, Мих. — Мещанин Адамейко. Повесть.  
Стр. 257. Ц. 1 р. 50 к.

Его же. — Попугаево счастье. Рассказы. Стр. 117.  
Ц. 50 к.

Коробов, Я. — Дема Баюнов. Роман. („Новинки  
пролет. литер.“). Печатается.

Лавренев, Борис. — Ветер. Рассказы. 3-е изд.  
Стр. 167. Ц. 1 р.

Его же. — Полынь - трава. Повести. Стр. 208.  
Ц. 1 р. 10 к.

Его же. — Рассказ о простой вещи. Стр. 107.  
Ц. 50 к.

Его же. — Шалые повести. Стр. 135. Ц. 85 к.

Либединский, Ю. — Комиссары. 3-е изд. Стр. 173.  
Ц. 1 р. 10 к.

Лидин, Вл. — Пути и версты. Стр. 188. Ц. 1 р. 50 к.

Луговой, А. — Два бунта. (Печатается).

Мариенгоф, Анатолий. — Роман без вранья.  
Стр. 155. Ц. 1 р.





## Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“

Ленинград, ул. Герцена, 15, тел. 217-79.

Москва, Лубянский пассаж, 46—49, тел. 2-24-09.

Мат, Никэд. — Желтый дьявол. Роман. Т. I.  
Стр. 271. Ц. 1 р.

Его же. — Зубы желтого. Роман. Т. II. Стр. 342.  
Ц. 2 р.

Его же. — Зубы желтого обломаны. 1920—23 гг.  
Стр. 248. Ц. 1 р. 50 к.

Низовой, П. — Золотое озеро. (Печатается).

Никифоров, Георгий. — Или-или... (Повести и рассказы). Стр. 255. Ц. 1 р. 60 к.

Его же. — Мзгла. Повесть. Стр. 112. Ц. 75 к.

Его же. — На пути. Повести и рассказы. Стр. 115.  
Ц. 80 к.

Омельченко, Ал-др. — Великая смута. Роман.  
Стр. 165. Ц. 1 р.

Орловский, Вл. — Машина ужаса. Научно-фантастическая повесть. Изд. 8—10 тысяча. Стр. 162.  
Ц. 85 к.





## Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“

Ленинград, ул. Герцена, 15, тел. 217-79.

Москва, Лубянский пассаж, 46—49, тел. 2-24-09.

Пильняк, Борис. — Заволочье. Стр. 141. Ц. 90 к.

Раковский, Леонтий. — Зеленая Америка. Повести и рассказы. Стр. 179. Ц. 1 р. 40 к.

Романов, Пантелеймон. — Русь. Роман. Ч. I. Стр. 203. Ц. 1 р. 50 к.

Его же. — Русь. Роман. Ч. II. Стр. 192. Ц. 1 р. 50 к.

Его же. — Русь. Роман. Ч. III. Стр. 172. Ц. 1 р. 50 к.

Семенов, Сергей. — Предварительная могила. (Печатается).

Скоринко, И. — Стальной гамуз. Роман. („Новинки пролет. литер.“). (Печатается).

Сухотин, П. — Куриная слепь. (Печатается).

Тверяк, А. — Чудаки. Стр. 141. Ц. 90 к.

Урин, Дмитрий. — Шпана (отчаянные кампании Сеньки Луковского). Повесть. Изд. 7—10 тысяч. Стр. 77. Ц. 45 к.

Федин, Конст. — Собран. сочин. Т. II. Города и годы. Роман. Стр. 470. Ц. 3 р.





## Рабочее Издательство „ПРИБОЙ“

Ленинград, ул. Герцена, 15, тел. 217-79.

Москва, Лубянский пассаж, 46—49, тел. 2-24-09.

Форш, Ольга. — Московские рассказы. Стр. 96.  
Ц. 75 к.

Ее же. — Одеты камнем. (Таинственный узник  
Алексеевского рavelина). Стр. 253. Ц. 1 р.  
90 к.

Чернятин, В. — Прыщ. Повесть. Стр. 104. Ц. 75 к.

Четвериков, Дм. — Бурьян. Повести. Стр. 189.  
Ц. 1 р. 10 к.

Его же. — Госпожа Идеология. Рассказы. Стр. 48.  
Ц. 20 к.

Его же. — Малиновые дни. (Печатается).

Его же. — Робинзоны. Рассказ. Стр. 61. Ц. 25 к.

Его же. — Тавро. Рассказы. Стр. 61. Ц. 25 к.

Чумандрин, Мих. — Родня. Повесть. („Новинки  
пролет. литерат.“). Печатается.

Шагинян, Мариэтта. — Избранные рассказы.  
Стр. 192. Ц. 1 р. 50 к.

Ее же. — Своя судьба. Роман. 2-е изд. (Печатается).

Шпынар, Семен. — Коренной. Роман. Стр. 164.  
Ц. 90 к.



ЦЕНА 1 Р. 50 К.

ТОРГСЕКТОР ИЗД-ВА „ПРИБОЙ“  
ЛЕНИНГРАД: УЛ. ГЕРЦЕНА,  
ДОМ № 15. ТЕЛЕФОН 217-79, 217-78.  
МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:  
ЛУЛЯНСК. ПАСС., 46—49. Т. 2-24-09  
ОТДЕЛЕНИЯ: В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ  
ХАРЬКОВЕ, КИЕВЕ, СВЕРДЛОВСКЕ,  
НОВГОРОДЕ, ЧЕРЕПОВЦЕ И В  
УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ ЛЕНИН-  
ГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ